



Деревоцвет

Литературно-художественный альманах для юношества



№ 3(10)
2001

Первоцвет

№ 3 (10) 2001

Литературно-художественный

**альманах
для юношества**

Основан в 1998 г.

Учредитель

Областная юношеская
библиотека
им. И. П. Уткина

Главный редактор

Виталий Науменко

Редколлегия

Лидия Серёдкина
Владимир Шерстов
Владимир Дейкун

Оригинал-макет, вёрстка

Елена Бер

Набор

Валерия Попова

Обложка

Сергей Элоян

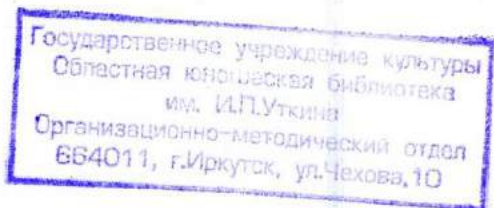
В оформлении рубрики "Архив"
использованы работы
Константина Сомова

Адрес редакции:

664011, г. Иркутск, ул. Чехова, 10

Тел.: 27-07-93, 20-43-01

E-mail: library@youlib.irk.ru



ОТ РЕДАКЦИИ (3)

ГОСТЬ НОМЕРА

Александр Хлебников. Карболитовый истукан. (4)

ПРОЗА

Анастасия Яровая. Сюжеты зеркальных книг. (25)

Любовь Штефюк. Рассказы. (39)

ПОЭЗИЯ

Александр Иванов. Все мы сойдёмся здесь. (9)

Сергей Выборов. Если б я только знал... (12)

ЛАБОРАТОРИЯ

Виталий Диксон. Литерный караван, или по следам писательского блокнота. (14)

ПЕРЕВОДЫ

Сергей Карпухин. Кольридж, Бодлер и Китс. (16)

ГАЛЕРЕЯ

Антон Зырянов. (35)

ОПЫТЫ

Константин Максимов. Светлана Бутковская.

Григорий Шоболов. Милана. *Юрий Кругов*.

Евгения Скарднева. Вера Гульева. *Анастасия Дмитриева*. (42)

АРХИВ

"Иркутские вечера" — 85 лет спустя. (48)

Константин Журавский. Надежда Камова.

Лев Повицкий. *Владимир Прусак*. *Варвара Статьева*. (50)

ДРУГОЙ ЖУРНАЛ

Представляем альманах "Рубикон". (68)

Елена Малышева. Экзамен. (69)

Юлия Сергеева. Слово про слова, или жизнь длиною в алфавит. (71)

Татьяна Краснова. "Несказанного свет". (74)

Нынешний номер журнала «Первоцвет» — юбилейный и, одновременно с этим, переломный, переходный. Не изжила себя идея, лежащая в основе нашего журнала, но изжило себя её воплощение. Журнал становится другим.

Теперь он будет ориентирован не столько на авторов «начинающих», сколько на авторов, «начинающих хорошо», и просто на «молодых» писателей в самом широком смысле этого слова.

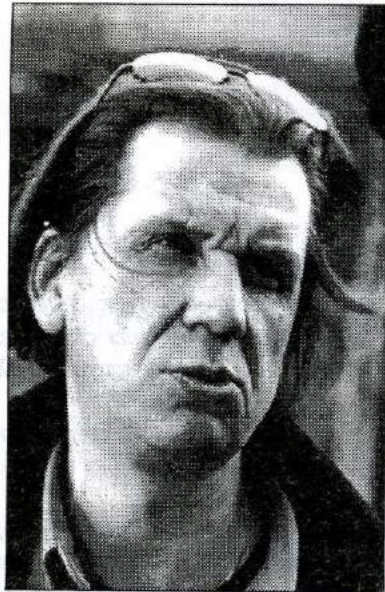
Нельзя, наверное, сказать, что существует некая молодая литература, отличная от литературы взрослой. Тем не менее, проблемы молодых авторов специфичны — они куда непосредственнее заняты «постановкой голоса», утверждением себя в мире и в литературе, чем их более старшие и опытные коллеги. Наш журнал и призван помочь им в этом: дать контекст, возможность сопоставления, предоставить площадку для публикаций — в том числе самых смелых, экспериментальных, помочь разрешить некоторые сугубо профессиональные проблемы.

Мы открыты для самых разных форм творчества, лишь бы результаты его соответствовали художественным, а не идеологическим или конъюнктурным критериям и соображениям.

Мы предполагаем объединить на страницах журнала лучшие молодые творческие силы не только Иркутска и Иркутской области, но и других регионов Сибири. Впрочем, это дело будущего.

Уже в этом, переходном, номере мы предлагаем вашему вниманию новые рубрики, новую систему подачи текстов. Тексты, еще недостаточно убедительные для нас, но обещающие от авторов значительные успехи в будущем, мы объединяем в рубрике «Опыты». В рубрике «Лаборатория» планируется публиковать размышления опытных, сложившихся писателей, касающиеся проблем литературного мастерства и природы творчества. Возможно, скоро к ним добавятся и профессиональные разборы конкретных произведений молодых авторов со стороны «мэтров», как это практиковалось в своё время в журнале «Литературная учёба». Рубрика «Гость номера» также предлагает вниманию читателей авторов сложившихся и вполне взрослых и предназначена даже не столько для того, чтобы «задавать планку», сколько для внесения в журнал хотя бы минимального поколенческого разнообразия — окончательно заикливаться на паспортных данных (а «молодым» писатель традиционно считается лет до 35), наверное, неправильно.

Безусловно, журнал будет меняться и дальше. Стоять на месте ни в коем случае нельзя, тем более если имеешь дело с молодой литературой, с новыми голосами.



Александр Хлебников — писатель странный. Ну, начнём с того, что он не член Союза писателей, а член Союза архитекторов. Во-вторых, он не издал ещё своей книжки, хотя и, разумеется, написал её.

Хлебников пишет рассказы. В рассказах своих кому-то он может показаться излишне расхлябанным, кому-то симпатично свободным, незакомплексованным, кому-то, наверное, даже аморальным. Публикуя его рассказ на страницах нашего журнала, мы немного рискуем, ибо это проза непривычная, жёсткая, без оглядки на образцы и каноны. У неё найдутся свои почитатели и те, кто её категорически не воспримет. Что ж, так и должно быть.

В прозе Хлебников — со своей интонацией, странным «вывихнутым» языком — смесью литературного и разговорного, в образе этакого усталого, разочарованного «мачо». Он выговаривается — в том числе и о том, о чём выговариваться вроде бы и не принято. Его герой — с кучей проблем, в основном личного характера, но к проблемам этим относится с некоторой самоиронией, невольно вызывающей симпатию.

Что несомненно привлекает в герое Хлебникова, так это то, что он живой, настоящий, и это очень важно, ведь хорошая литература, как известно, не придумывается, а рождается.

КАРБОЛИТОВЫЙ ИСТУКАН

Звали его Жорж. Хотя, если разобраться, то эту табличку повесил на него я — самонадеянно и, в общем-то, неудачно. Я всякий раз твердил ему «Жорж-Жорж», но он только ухмылялся и более охотно откликался на пошлое Гоша. Моё водевильное «Жорж» не прижилось, и, констатируя неудачу, я сыпал на головы его друзей пепел от моей таблички с вензелистым «ЖОРЖ». Я уж и не знаю, что им так далось это детское «Го-оша», оно выводит меня из себя.

За его провинциальную актёрскую судьбу никто не старался, а всё, чего он добился на этой ниве сам, так это умильное признание старушек, которое они выражали просто: «славный мальчик». Развернуться его таланту не помогли не только большая сцена областного драматического театра, но и вереница халтур в ТЮЗе, а также бесконечные утренники, новогодние ёлки и прочие шефские представления. Жоржевы Гамлеты, Мольеры, Павки были не свежи в провинциальной трактовке и, тем не менее, произвольно, не со зла, они наполняли расхристанной характерностью его самого. Тем более что отблеск правды был с ним как сторонник, как соучастник его настоящей, разбухшей талантливости.

Я вязался к нему со своим Жоржем, и он не отталкивал меня. Театральности в наших отношениях было немного, но на стороне он вяз в серьёзной драматургии со всевозможными осложнениями. Неаккуратно, случайно он как-то подпустил к себе способную студентку, которая была мила вне всяких оговорок, даже на мой вкус. Впрочем, он неудачно позволил ей многое, сразу, и она вдруг припоровилась звать его Жоржиком. Из-за этого жоржизанства мы чуть с ним не рассорились. К

сожалению, девица была не тонка, и то, что она переспала с ним — в угаре, после капустника, им было оценено не положительно и не должно. Однако она восприняла это как событие и перешла с ним на совершенно легкомысленный тон. Она звонила ему из уличных автоматов и под завывание проплывающего мимо автотранспорта слишком доверительно мучила его:

— Жоржик, милый, ты обязан принять решение. Ты, слышишь меня, Жоржик!?

Что творилось в его душе, я не знал, но однажды, столкнувшись с ними случайно, на набережной, стал участником развязки. Она уповала на молодость, он на опыт, и потому драма была не хитрая.

— Пошла вон, дура!.. нашла себе Жоржика! Ага, щас!..

Некоторое время мы не встречались, свою оскорбительную причастность я погасил необщительностью, сойдя с тусовочной дистанции на несколько лет.

Иногда он попадался мне в телевизионных театральных очерках, и я радовался за него искренне, эмоционально.

— Смотри, Кать, опять Жоржа славят!

Он дарил свой талант обществу. Дарил дешёво, и потому, встретив его как-то уже с капитанской трубкой в зубах, я был вынужден констатировать, что его одновременно оставили молодость и здоровье, а деньги и положение вообще не встречались с ним. При нём были: всё тот же побитый твидовый пиджак, джинсы и незнакомая мне миловидная девица. Волосы, которые ещё пару лет назад отливали смолюю на солнце, теперь были слегка побиты проседью.

Я лез в машину. Я, в сущности, спешил. Я зарабатывал деньги суетой, но его расслаб-

ленный тон, сложившийся в монолог, был сыгран нотто, постановочно.

— О, старик!.. Привет!.. Сколько ж мы не виделись!?! Я очень рад!.. Жутко хреново!.. Кругом одни бездари!.. Совсем пустой!.. Старик, я отдам!.. Ну ладно, давай!..

Я расстался с сотней в общем-то легко. Я в общем-то легко отделался от Жоржа, потому что его грубый монолог был мне навязан не с руки и не ко времени. С сотней, под парку он выудил у меня новый изменившийся телефонный номер. Когда я царапал циферки в его засаленном, с разваливающимися страничками блокноте, он смотрел на меня гордо. То, что он первостатейный трепач, было видно даже по его осанке, и слова, вылетающие с причмокиванием из-под трубки, имели окраску высшей пробы. Он выпускал их хорошо поставленным, наигранно важным голосом, который сводил с ума неуравновешенных девиц. Но я спешил и оценить свой безумный, недальновидный поступок наскоро не успел, за что теперь плачу деньгами и неудобным, раздражающим меня полудночным телефонным трёпом.

Старенький карболитовый телефон я исправил, подобрав с помойки. Катя ругалась. Я упрямотствовал и, заменив некоторые детали, водрузил его на полочку в коридоре. Аппарат был тяжёлый, имел убийный звонок и изменял голоса до неузнаваемости. Этим обстоятельством сложно было не пользоваться, поэтому нам часто доставалось с того конца провода. Катя порывалась с этим покончить не единожды, но семейный бюджет был в моих руках, и провокационные уговоры не проходили. Мне нравился его дизайн. Мне нравились его матовый затасканный корпус, трубка с треснувшей крышечкой, провод, удлинённый до туалета, в оплётке с птичьего рынка. Мне нравился он как фрагментик чьей-то чужой неведомой мне жизни, в которой, вероятно, он достаточно наслушался и натерпелся. Но я знал. Я догадывался, что он непременно, нежданно что-нибудь да отчебучит или, на худой конец, подведёт моё реальное настоящее под чьё-то давно рухнувшее прошлое. Не зря же, неспроста он достался мне практически целёхоньким. В конце-то концов, не из-за дизайна же он вылетел на помойку. И потому его теперешнее приобщение к свежим, схожим реалиям, возможно,

вполне было ему с руки. И хотя я только предполагал и фантазировал, абстрагируясь, домысливая какие-нибудь истории, в реальности ничего с ним мистического не пережил. Однако то, что он станет соучастником, наглым пособником драмы, я прочувствовал слишком поздно. Это шлейф чужой нажитости и скраденной разборчивости у него было не отнять. Он невпопад, с разной тональностью звонил. Он нагло подпускал шумы и всячески пакостил, убивая настроение. Особенно он хорош был в дуэте с тещей, кредиторами, соседкой и прочими малоинтересными особами. Как заправский рекогносцировщик он мог завуалировать до неузнаваемости и довольно приличных людей. Тогда на моё «кто это» они глупо кричали, как с того света, что это — Вадик, Пётр Петрович, Сидоров или Муха. Когда же по проводам до моего слуха долетело: «Это я — Жорж!» — я даже не сразу сообразил, как это он меня нашёл. Его стройный чеканный тенор неожиданно легко покрыл шумы и прочие вредности телефона, и это само по себе было примечательно. Удивительно, но только с голосом Жоржа мой любимый карболитовый дружок вдруг становился как неродной. Я передумал всякое и даже грешил на АТС, но позванивал мне Жорж с разных районов, дающих бессистемность исходящих звонков, что, по сути, явилось признанием этакой лёгкой чертовщины.

Жорж запускал по проводам практически однообразную, последовательную (после нескольких задушевных и с моей стороны малодушных звонков) тираду: о здоровье, о жене, о знакомых, о новостях местного бомонда, о прочих знакомых, среди которых он особо упирал на Тоньку (отнекиваясь, я паялился сквозь щель туалетной двери, контролируя конфиденциальность, плёл вздор полунамёками о своей подруге) и наконец он финишировал вопросом о деньгах. Он прекрасно знал, что кассиром в семье являюсь именно я, и без комплексов просил взаймы, даже не оговаривая сроков и возможности возврата.

Катя невзлюбила Жоржа сразу. Ей не нравился он целиком со своей ранимо бестолковой жизнью. Жизнью, которая была нага и публична. Она не прониклась его судьбой, в которой многие огрехи можно было с лихвой списать на происхождение и воспитание, но Жорж был талантлив. Он талантливо играл

себя, и это пугало Катю настолько, что она, не находя лучшего, просто недовольно гукала, когда в трубке звучал его голос, и звала меня громко, даже не пытаясь скрывать раздражения: «тебя, опять, этот...». Я не думаю, что ей было сложно быть чуточку снисходительной. Скорее наоборот. Просто, протягивая мне увесистую трубку, из вредности она портила лицо своей коронной саркастической усмешкой. Я не думаю, что этой позой ей так уж хотелось выказать себя недовольной, тем не менее, забегая вперед, она банально боролась с собой и упреждала подкатывающую тошноту. Тошноту на звонки, на разговоры до одури и, наконец, на самую мою связь с ним, ибо точно знала, что семейный бюджет страдает, хотя я, как мне казалось, удачно врал.

Я врал ей давно и всегда — такой вот гнусный пунктик. Что мне было делать с ней, если наша совместная жизнь подёрнулась плесенью ещё до серьёзных стычек. Она специально разбудила дремавших в нас эгоцентриков и рассорила их. Теперь любой наш разговор мог в любую минуту скатиться к ору только от одного подозрительного намёка на мою связь с чёртом-бесом, или, наконец, с какой-нибудь кассиршей из парикмахерской, о которой она унизительно узнала последней. Некоторое время спустя мы, не сговариваясь, избегали раздорных тем, и я старался не путаться связями на стороне, поэтому единственным, что могло разрушить это хрупкое затишье, был телефон с голосом Жоржа.

Я врал ей умышленно, потому что она согласилась стать моей третьей женой. Разница в возрасте у нас достигала почти катастрофической цифры и для сожительства годилась мало. И всё же эта разница давала мне основания недоговаривать, ловчить и быть особо осторожным даже в невинных комплиментных паузах, чтобы пропеть ей, к примеру, «Тоня». Её возраст мне нравился физиологически. То, что было за этой пресловутой физиологией, меня тяготило. Тяготило её страстное увлечение литературой — она зачитывалась женскими романами за полночь, разрушая такую священную обязанность как супружеская. Тяготила её никотиновая зависимость и эти, вечно полные, пепельницы. Тяготило скопидомское провинциальное мещанство, со старой мебелью, пошлым диван-

чиком и телевизионным пультом в целлофановом пакете. Всюду она выказывала простоту своего происхождения, включая еду и секс. К тому же она ревнива. Она способна к этому дико, как будто я живу и нагло, на её глазах, обольщая всех своих женщин одновременно. Она не понимала меня. Она пробовала подогнать меня под стандарты своего папаши, которого мать третировала до неприличия гадко, и — удивительно, но он умудрился дотянуть с тещей до шестидесяти. Она постоянно изводит меня подозрениями, в которых, возможно, уподобляясь матери, опускается до обнюхивания одежды и пролистывания сообщений с моего пейджера. Она контролировала (конечно же, ей так только казалось) все мои деловые и прочие контакты с женщинами всех возрастов и комплекций. Я думаю, что она просто боится меня потерять, потому что её жизнь до меня была грязновата и порочна. Но я всё равно её люблю, отдавая отчет, что к четвертому подвигу и осчастливливанию какой-нибудь очередной дамочки я просто не готов. Хотя я держу подле себя Женечку и Томочку, и наши романы изначально слишком очерчены определённой, чтобы замахнуться на большее.

Катка всегда первая бежала к телефону, хотя подруг практически не имела (она живёт моей жизнью, моими друзьями (кроме Жоржа) моим мироустройством), кричала где-то подхваченным, тупым «ал-ллё!» и тут же тянула мне трубку: «Тебя!».

Холера всё-таки эта Томка. Связывает-то нас просто ерунда, а как режет. Режет по живому. Такое ощущение, что и мужиков-то вокруг нету, а я у неё как пуповина. Ведь знает, что я не её круга, а как вяжет. Вяжет по рукам и ногам своей молодостью. Красивая она. В любовницах она у меня лучшая. И пусть не врёт, что я для неё обуза жизни. Неправда. Не орёл я, но это из-за упрямства, не плясать же мне под её глазки. Чертовка эта Томка. Смазливенькая чертовка, но брошу я её — это точно! А то подкузьмит, подрубит мою семейную жизнь, и так всё порывается звякнуть мне вечером (а ведь я с ней договорился!) и держит свой ходик про запас, вредный.

Я всегда беру Катку за руку, а потом только трубку. Так у меня сложилось ещё с

тех времен, когда её руки ждали этого прикосновения. Нравятся мне Катькины руки — гладкие они, ласковые. Глазами-то она не вышла. Врать не умеет. Прет из неё эта правда открыто. Когда я рядом, чего бояться. Я ведь при ней ручной (получается у меня это) хо-о-орошенький! Верный. А там... Что там, знать-то зачем? Зачем, если всё равно ничего не изменишь? Лучше ничего не знать и точка. Точка.

— Козёл ты плешивый! Не наигрался ещё что ли?! Эти куры толстые совсем обнаглели, домой мне уже звонят! Мы же договорились! Ты же обещал!..

Действительно, когда-то мы разговаривали. Действительно, она оговаривала ситуацию, когда пускала меня бездомного в свою квартирку. Но сейчас же звонил Жорж. Это Жорж висел на другом конце провода. Почему меня должны волновать его девицы? Его девицы — это его дело, я-то здесь при чём? Я же здесь.

Она прошла эту школу. Она тяжело далась ей. Те злополучные два года в любовницах Катьке не удалось. Её портили мужички. Левые. Женатые. Она отдала им лучшее. Она прожила с ними девичество, даром, впрах. И то, с чем она осталась, было не стильно. Но я не придал её откровениям веса. Я принял её так. Я просто принял игру. Я польстил на опытную, подозрительную, а теперь, к удивлению, ещё и ревнивую молодую женщину. Женщину, которая не верила ни Жоржу, ни чёрту. За ней был опыт. Грязный. За неё старался страх. Глобальный. И обвести её было невозможно. Она чувствовала себя обманутой с самого начала.

Звонил действительно Жорж. Он противно пытался облобызать меня виртуально, но выходило размазанно, затянута, и потому,

когда его голос вдруг резко преобразовался и вздёрнулся в милый девичий, я не сразу перестроился на щебетание Женечки. Я стоял в коридоре. Я даже не успел подтянуть телефон до спасительной туалетной двери, как она закричала в трубку.

— ...Я не могу без тебя, слышишь!?

Гадкий Жорж. Ведь они едва знакомы! Клюква! Моя прыщавенькая пастушка сейчас с ним! Боже!

Ошарашенный, совсем забыв об осторожности, я ляпнул:

— Да, слышу! Дай трубку Жоржу!

Я назвал его стариком раз пятнадцать, и разговор был трудный. Был второй час ночи, и он ночевал у моей Женечки, с которой я даже не грешил, а возрастно берёг её из опасений: во-первых, быть смешным, во-вторых, старым. Я берёг наши чистые отношения. Мне так нравилось быть с ней просто романтическим, дарить ей цветы, просиживать в обнимку, с трогательными поцелуями в щёчку дневные (из осторожности) киносеансы и премьерные спектакли Жоржа, а она... Она так банально, низко, подло из его объятий кричит мне о своей любви.

Впервые я сам, добровольно ушёл спать на кухню. Мне не хотелось спать. В сущности, после выволочки, которую мне устроили, доведя меня до истерики, я не смог уснуть. Они довели меня до срыва, в котором с меня слетело всё, чем я гордился, включая приобретённую интеллигентность, которую я на пике, под крещендо оборвал, грохнув о стену свой любимый аппарат. Он не дожил до моей старости. Он неожиданно разлетелся на мелкие кусочки, скромно взвизгнув. Он умер гадким посредником. Он сгинул в неопределённом возрасте, предав меня — карболитовый истукан.



ВСЕ МЫ СОЙДЁМСЯ ЗДЕСЬ

Дождевая прохлада сменилась солнечным днём,
 Неужели ты полагаешь, что и душе подобные перемены сродни?

Столько вокруг воды, а ты ходишь по городу, мучаясь от жажды;
 Видно, даром прошли уроки, пуст карман, и суха в горле досада.

Будь у тебя, Александр, все блага мира, чего бы тебе не хватало?
 Разве сейчас менее ощутимо это отсутствие?

Кажется, мы встретились только вчера, а вечером я уже звоню тебе домой.
 Я не могу связать двух слов, так поражён я силе открывшихся мне
 переживаний.

Пусть увянут цветы, что я тебе подарил, пусть забудутся прочитанные стихи.
 Не огорчайся! нашим душам дано найти другие корни.

Новую жизнь не начинают с понедельника,
 Всё ложь, чем ты был прежде, Александр, говори правду.

Александр ИВАНОВ (1976 г. р.) — поэт, переводчик. Окончил ИГЛУ (Восточный факультет, китайское отделение). Переводит стихи американских, польских, китайских поэтов. Лауреат конференции «Молодость. Творчество. Современность». Стихи печатались в журналах «Молодёжный магазин», «Бизнес-мост», газетах «Иркутск», «Зелёная лампа». Живёт в Иркутске.

Прежде чем задержать дыхание, подумай, что найдёшь ты в этой мутной воде.
Твои стихи становятся похожими на то, что ты ищешь — открытость,
непреднамеренность, —
а ведь по дну уже шарят тысячи рук.

Что форма? — ценна сама жизнь, в которой она дышит.
Мы говорим на разных языках? — слова, которыми говорит моё сердце,
преодолеют любые преграды.

Не обольщайся, Александр, ты многое принимаешь за должное.
Посчитай, сколько раз ты пытался примирить всех со всеми. И что из этого
вышло?
Что меня не убьёт, пусть сделает крепче.

Поэзия во всём; и нет нужды в перечислениях.
Пока пишется эта строка, тысячи изменений происходят в мире.

Ещё недавно я думал, что модно одновременно и «быть» и «иметь»:
Приглядитесь! Рядом с вами живут люди, собирающие пустую посуду!

Моя речь свободна от наставлений: в жизни мне не всегда удавалось
быть убедительным.
Думайте, что я пьян, ибо даже собственная жажда способна опьянить меня.

Тобою насыщено всё, доступное взгляду: темноту всех вещей ты собой заполняешь.
Я захлёбываюсь словами: каждый вздох, каждый звук ты собой заполняешь.

Поклонение мне чуждо, ни одна из дорог не привела меня к храму.
Я обращался к Всевышнему; как же получилось, что его место в моём сердце
ты собой заполняешь?

Невозможно в один сосуд влить вдвое больше воды.
Я не нахожу себе места в этом городе; все — ты — собой заполняешь.

Свобода там, где чувствуешь её всем существом сейчас, в это самое время.
Читая эти строки, ты смотришь на себя со стороны сейчас, в это самое время.

Я здесь, открыт перед тобой, со всеми недостатками своими.
Не беда, если они станут мишенями твоих стрел сейчас, в это самое время.

Передавая тебе слово, я стою беззащитен, ведь это — мое единственное оружие.
Будь на моем месте и узнаешь, какой болью мне это даётся сейчас, в это самое
время.

Я хотел бы поговорить с тобой прямо сейчас, пока зависла
секундная стрелка, этого достаточно.
Впереди еще полный круг, где нет нужды подбирать слова, и этого достаточно.

Мне казалось, что к этому мгновению я шел всю жизнь.
Оглянувшись, я понимаю, что зря потратил его на поворот головы,
этого достаточно.

Пусть охватившая нас немота позволит отчетливее слышать биение наших сердец.
Моя любовь к тебе красноречивее слов, этого достаточно.

Все мы сойдемся здесь,
последователи
разных религий,
сторонники разных убеждений,

Наследники
разных культурных
и языковых традиций.

Все мы,
разные по происхождению —
современники,
очевидцы,
свидетели своего времени —

На равных правах сойдемся здесь,
всем хватит места.

Все мы,
потерявшие и нашедшие,
живущие и ушедшие,
разного возраста,
пола и положения.

Все мы сойдемся здесь,
на этой строке.



ЕСЛИ Б Я ТОЛЬКО ЗНАЛ...

Может, слог твой порой и хорош,
Только правды в нем нет ни на грош,
Как словами ты жизнь ни мусоль,

Ибо жизнь – это радость и боль,
Ибо радость и боль о своём
Больше косным кричат языком.

Но возможно ль еще превозмочь
(Чтоб слова, словно камни – на дно),
Всё, чем бредит метельная ночь:
Заплутавший прохожий, окно,
Где тенями играет свеча,
Треск в печи и перо рифмача?

А бедняга-рифмач (это я),
Смотрит: об ледяные края
Бьётся жизнь, как река, ищет путь
И шумит, и не может уснуть.

Песня тихая моя,
Верно ль я тебя спою?
Ты мерцаешь, как маяк,
Сна и яви на краю.

Сергей ВЫБОРОВ (1972 г. р.) – поэт, бард. Учился на математическом факультете ИГУ. Лауреат конференции «Молодость. Творчество. Современность». Стихи печатались в коллективном сборнике «Ненужное зачеркнуть», в журнале «Сибирь», газете «Шарманка». Участник клуба исполнителей самодеятельной песни «Полнолуние». Живёт в Иркутске.

Холодов и неудач
Расплетай упрямо сеть.
В каждом сердце есть звезда —
А звезда должна гореть!

Проведи меня сквозь тьму,
Покажи, чем мы живём.
Сопричастности всему,
Соучастия во всём
Осознать всю горечь дай,
Научи меня терпеть.
В каждом сердце есть звезда —
А звезда должна гореть!

Одинок, не одинок —
Что я делал, чем я жил?
Мог помочь и не помог,
Мог любить и не любил.
Затверди же навсегда,
Чтоб в глаза хоть смерти спеть:
В каждом сердце есть звезда —
А звезда должна гореть!

Тёплое утро. Ветер
В нежном с волной споре.
Мальчик играл с морем.

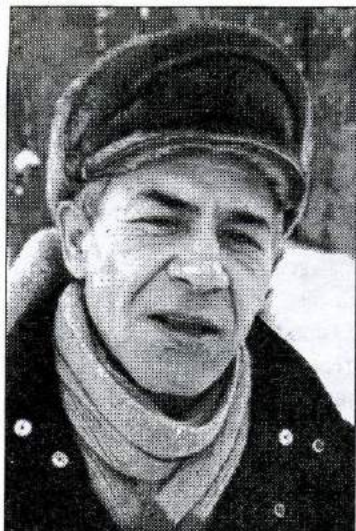
Бросил он, будто в крысу,
Камень в девятый вал.
Кто он? И в чём игры суть?
Если б я только знал...

А на песке прибрежном
Чей это след странный?
Вдоль по нему — Странник.

Кто он, бредущий строго
По следу? Когда привал?
Может быть, след — Бога?
Если б я только знал...

Песчинки по-новому сложит
Волна, когда набежит.
Что это всё? Жизнь?

Кто из них я — спорили
Ключья души в тоске:
Мальчик ли? Странник ли? Море ли?
Лёгкий ли след в песке?
Если б я только знал...



ЛИТЕРНЫЙ КАРАВАН, ИЛИ ПО СЛЕДАМ ПИСАТЕЛЬСКОГО БЛОКНОТА

Один из современников Гейне вспоминает, что за несколько часов перед смертью поэта к нему ворвался давний знакомый, желая выяснить его отношения с Богом.

— Будьте спокойны, — улыбнулся Гейне. — Бог простит меня. Это его профессия такая, прощать.

Так мог сказать только профессионал о профессионале, равный — равному.

Владимир Солоухин во «Владимирских просёлках» расписался о деревенском застолье по какому-то совершенно ничтожному поводу. Дымится в миске варёная картошечка, да хлеб пахучий, ноздреватый нарезан не прозрачными ресторанными лепестками, а увесистыми ломтями, да водочка в запотевшем графинчике, да золотые солёные рыжички... И уж такой он красавчик, такой герой, этот рыжичек, что его не только на прожор употреблять невозможно, но следовало бы посадить в красный угол, за стол, вместе с гостями — да не спеша наслаждаться его мудрыми грибными душистыми спорами.

А где-то с краешку текста писатель обронил как бы невзначай, ненароком: «Очень важно, чтобы при этом за столом сидели хорошие люди».

И тут вся гастрономическая структура повествования переворачивается, точно поплавок при полёвке. Уже не рыжик становится героем застольно-

го рассказа или рассказанного застолья, а — человек. Но пусть даже и рыжик, однако в любом случае не сам по себе, а увиденный глазами доброго человека.

У прозаиков, как правило, жизнь размеренная, организованная. Потому у них — юбилей.

А у поэтов — годовщины, поскольку жизнь — на форсаже, жизнь — сгущёнка; как на войне: год за три.

Десять симфоний Бетховена...

Продолжателем Бетховена считали Брамса. И первую, написанную Брамсом, симфонию современники называли ДЕСЯТОЙ — как продолжение симфонической жизни Бетховена.

Вот путь творца, создателя: он и сеятель, и зерно, и почва.

Отменное вино, отменные шашлыки... Эти гастрономические удовольствия для меня лет двадцать назад так и назывались, без натяжки: отменными. Сейчас у них другое, не подозревавшееся, название: «отменённые». Законодированное ограничение!

В русском языке немало подобных шуточек.

По мере развития ударными темпами советского социалистического жилищного строительства из гражданского лексикона исчезло слово «парадное». Его заменил «подъезд», незаконнорожденный сын старорежимного, барски-надменного «пандуса».

Но подъезд — он и есть подъезд, как ни крути-верти, всего лишь подъезд к дому. Однако этот самый подъезд решительно, точно революционный матрос, вошёл в дом, да там и остался поныне — со всей присущей ему неприглядностью и неухоженностью печально известных российских дорог.

— В каком пространстве живет настоящий писатель, не кусочник и графоман, а подлинный литератор?

— Знаете, у славянских язычников был такой обычай: человека, подозреваемого в преступлении, вывозили на лодке на середину реки или озера и бросали, связанного, в воду. Если утонет, то, значит, бог (кумир, идол) к себе взял, и человек этот невиновен. А если не утонет и каким-то образом выплывет на берег, то

его тут же дубинками забивали насмерть, потому как он отвергнут богами и, следовательно, виновен. Понятна аналогия? Судьба настоящих писателей тому подтверждение.

Традиционалисты и реформаторы, консерваторы и новаторы. Кто с иконами, кто с синкопами.

И недоуменно выгнулась редакторская бровь: что за синкопы? откуда синкопы? зачем синкопы?

А дело-то простенькое. Синкопа — это рефлекс, движение, вызванное сильной страстью, это неожиданный ответный удар. Синкопа аритмична, противотактна. Это восстание против гармонии, против устоявшегося равновесия. Везде и во всём. В том числе и в музыке.

Двухтысячный сентябрь. Дни польской культуры в Иркутске. Литературные переводчики Сливовские, супружеская пара, пани Виктория и пан Ренэ. Она — профессор Института истории Польской академии наук, он — профессор кафедры славистики Варшавского университета.

Чай, кофе, тары-бары... Бары обходили в порядке ознакомления с местными достопримечательностями, а тары наполнялись по мере... То есть сосудистая сердечность находилась в прямо пропорциональной зависимости от сердечной сосудистости.

Наконец, русскоязычный писатель Анатолий Кобенков отбросил обтекаемость и задал вопрос в лоб:

— Как там у вас, в Польше, живут поэты?

Пан и пани переглянулись. Похоже, этот вопрос застал их врасплох. Действительно, вопрос какой-то антисоветский. Ибо: разные, но истинные поэты везде живут одинаково, потому что живут-то они на самом деле не в странах — живут в мире. Страны разные, мир один.

Булгаковский мастер совершенно точно знал, что закончит свой роман словами «всадник Понтий Пилат».

Вот так перед писателем поставлена практическая проблема: «смерть как текст», говоря словами Андрея Битова. Это означает: на взлёте литературной судьбы очень даже уместно сочинить последнюю, самую заветную вещь, а уж потом можно приняться за дела, так сказать, предпоследние.



КОЛЬРИДЖ, БОДЛЕР И КИТС

От переводчика

Сочинение, написанное прозой, по крайней мере без размера, требует объяснения или аполгии.

С. Т. Кольридж,

Предварительная заметка к «Блужданиям Каина».

Предлагаемый перевод не является по большому счёту поэтическим. Скорее это подстрочник, стремящийся к удобочитаемости, т.е. с некоторой претензией не верлибр.

Невозможно передать на одном языке то, что создано на другом, — приходится создавать похожее. Однако при создании похожего можно опираться либо на смысл подлинника, либо на его звучание. Более того, при создании похожего переводчик вынужден чем-то жертвовать и до сих пор он отказывался от смысла в пользу звучания: у русских переводчиков это называется быть верным «духу» оригинала. К переводу стихов прозой, т.е. к переводу плана содержания стихотворного текста, как и вообще к верлибру, русский читатель относится с подозрением. Но если переводчики переводят звучание, почему бы им не переводить и смысл? Автор этих переводов не считает, что переводить стихи стихами неправильно, но ему кажется, что не лишним было бы дать читателю возможность увидеть преимущества другого

Сергей КАРПУХИН (1982 г. р.) — переводчик. Учится на филологическом факультете ИГУ. Живёт в Иркутске. Печатается впервые.

подхода, при котором с максимальной точностью передаётся смысл. В идеальном случае читатель должен сопоставить оригинал, имеющиеся переводы с рифмовкой и размером и данный перевод верлибром.

Комментатор Мильтона в серии *Everypop's Library* писал, например, что переводил его итальянские сонеты прозой, т.к. не хотел имитировать поэтические приёмы, доступные не только на языке оригинала. А по словам Набокова, «единственная цель и оправдание перевода — дать наиболее точные из возможных сведения, а для этого годен лишь буквальный перевод, причём с комментарием». Но, несмотря на то, что на Западе верлибр весьма популярен как средство перевода поэтических текстов, несмотря даже на попытки переводить верлибром у круп-

ных русских филологов (М. Гаспаров), наша переводческая традиция остается приверженной стихотворному переводу — вплоть до Бродского, утверждавшего, что любое стихотворение можно перевести с рифмой.

Если переводчик считает, что его перевод совершенно соответствует оригиналу, то это результат либо искреннего заблуждения, либо самовлюбленности (о нарциссизме переводчиков см. М. Гаспаров, «Записи и выписки», раздел «Переводы»). Простительно первое, второе заставляет вспомнить ещё одно выражение Набокова: *Dove-droppings on your toponym* («Голубиный помёт на твоём памятнике» — строка из стихотворения, в котором Набоков обращается к Пушкину в связи с переводом «Евгения Онегина»).

Сэмюэль Тейлор Кольридж

КУБЛА ХАН

В Занаду Кубла Хан
Величественный чертог наслаждений повелел воздвигнуть:
Где Альф, священная река, сбегал
Сквозь пещеры, безмерные для человека,
К бессолнечному морю.
И дважды пять миль плодородной земли
Были опоясаны стенами и башнями:
Там были сады, сияющие извилистыми ручейками,
Где цвело много ладаноносящих деревьев;
Здесь были древние, как холмы, леса,
Таящие солнечные пятна зелени.

О! Та глубокая романтическая пропасть, что спускалась
По зелёному холму через кедровую гущу!
Дикое место! Столь же священное и зачарованное,
Как то, куда всегда под ущербной луной являлась
Женщина, жалобными криками зовущая своего демона-любownika!
И из этой пропасти, непрерывно шумя,
Как если бы тяжело и торопливо дышала земля,
Ежеминутно вырывался мощный фонтан,
В быстром замирающем потоке которого
Огромные обломки прыгали, подобно подсакивающему граду
Или негодному зерну под цепом молотильщика:
И среди этих танцующих скал
Ежеминутно взметалась священная река.
Пять миль блуждая и вивясь,

Сквозь леса и долины священная река бежала,
Затем достигла пещер, безмерных для человека,
И утонула в смятении в безжизненном океане.
Средь этого смятения Кубла услышал далёкие
Голоса предков, пророчащие войну!

Тень чертога наслаждений
Зыбилась по волнам,
Где был слышен согласный шум
От фонтана и пещер.
Это было редкостное чудо:
Солнечный чертог наслаждений с пещерами изо льда.

Девушку с лютней
Однажды я видел во сне:
То была абиссинская дева,
И она играла на лютне,
Распевая о горе Аборе.
Если бы я мог оживить в себе
Её игру и песню,
Столь сильный восторг меня бы охватил,
Что с помощью долгой и громкой музыки
Я бы построил тот чертог в воздухе,
Тот солнечный чертог! Те пещеры изо льда!
И все, кто слышал, вскричали бы: Берегись! Берегись!
Его сверкающих глаз, его развевающихся волос!
Опишите круг около него трижды
И закройте в священном ужасе глаза,
Ибо он вкусил медвяной росы
И пил молоко Рая.

Примечания

Занаду (Xanadu) — один из переводчиков — В. Рогов — ставит ударение на последний слог. Словарь Даниэля Джонса даёт два варианта произношения: Zánadu и Zanádu. В переводе Бальмонта — Ксанад.

Рукопись (The Crewe Manuscript, «Манускрипт Крю», т.е. маркиза Крю, последнего обладателя манускрипта, перед тем как он был передан Британской библиотеке) даёт ещё один вариант написания по-английски: Xannadu. У Пёрчаса (Purchas) в книге «Пёрчас, его путешествие», источнике Кольриджа, написание такое: Hamdu. У Мильтона в «Потерянном Рае»: Cambalu.

Кубла Хан (Kubla Khan) — Хубилай (1216-1294) — основатель монгольской династии в Китае, потомок Чингиз-хана. По-английски читается Кубла Хан. В рукописи: Cubla Khan. У Пёрчаса: Sublai Can. У Мильтона: Cathaian Can.

Альф (Alph) — у Бальмонта: «поток священный», у Рогова: «река богов», в оригинале: «священная река» (sacred

river). Кольридж сливает воедино образы Нила (одной из рек, берущих, по преданию, начало в Элеме) и Алфея, реки, берущей начало в Аркадии и текущей в Элладу.

но дважды пять миль — в оригинале: twice five miles. У Бальмонта и Рогова: десять миль, у Пёрчаса: шестнадцать миль.

глубокая романтическая пропасть (deep romantic chasm) — Ср.: Изгибы романтических холмов... (Байрон, «Паломничество Чайльд-Гарольда», песнь 1, пер. И. Бунина).

мощный фонтан (a mighty fountain) — У Рогова: «гейзер», у Бальмонта: «поток». Для Кольриджа этот образ связан с символом фонтана в книге «Аврора» немецкого мистика Якоба Беме, которого он с увлечением читал. Кроме того, в наследии Кольриджа есть стихотворение под названием A Mighty Fountain.

согласный шум — в оригинале: «смешанный такт» (the mingled measure), музыкальный термин. В переводе Рогова:

И звучали стройно в лад
Песнь, что тьма пещер творила,
И гремящий водопад.

В переводе Бальмонта:

И из пещер (...)
(...) рождались крики.

девушку с лютней — в оригинале: «с цимбалами» (with a dulcimer). В переводе Рогова: «лютня», у Бальмонта: «гусли». Лютня в данном случае даже ближе теме экзотики, чем цимбалы: лютня — старинный щипковый струнный музыкальный инструмент арабского происхождения; цимбалы — старинный струнный музыкаль-

ный инструмент в виде деревянного ящика со струнами, на котором играли, ударяя по струнам молоточками.

однажды я видел во сне — в оригинале: «в видении» (in a vision once I saw).

распевая о горе Аборе — в рукописи было: Амога (исправлено с Амага). Гора Амара упомянута у Мильтона в «Потерянном Рае» как возможное место расположения Рая.

её игру и песню — в оригинале: her symphony and song. Очевидно, Кольридж употребил слово symphony не в современном значении «симфония» (или «симфонический оркестр»), а в значении, которое имело это слово в средневековом английском, — «гармония звуков».

Шарль Бодлер

ПУТЕШЕСТВИЕ

Максиму дю Кану

I

Для ребёнка, влюблённого в карты и гравюры,
Вселенная равна его огромному аппетиту.
Ах! как мир велик в свете ламп!
Как мир мал в глазах воспоминания!

Мы расстаёмся утром, ум полон огня,
Сердце — полно злобы и горьких желаний,
И мы идём, преследуемые ритмом клинка,
Убаюкивая нашу беспредельность на предельности морей:

Одни рады покинуть родину, постыдную для них,
Другие — ужас их колыбелей, а некоторые,
Астрологи, утопающие в глазах женщины, —
Цирцею-тиранку, окутанную опасными ароматами.

Чтобы не быть обращёнными в зверей, они опьяняют себя
Пространством, светом и воспламенёнными небесами;
Кусающий их лёд, покрывающие их медью солнца
Медленно стирают следы поцелуев.

Но истинные путешественники — это те одиночки, что уходят,
Чтобы уходить; невесомые сердца, подобные воздушным шарам,
Они никогда не сходят с пути своего рока и,
Не зная причины, всегда говорят: Идём!

Те, чьи желания имеют форму облаков,
Чьи мечты, словно у молодого рекрута —
О небывалом сладострастии, изменчивом, неизвестном,
И чей человеческий дух никогда не знал имени!

II

Мы подражаем, о, ужас! юле и шару
В их вальсе, в их скачках; даже во сне,
Вертя нами, нас мучит Любопытство,
Как подгоняющий солнца жестокий Ангел.

Особенная удача, когда перемещается цель и,
Не находясь нигде, может быть повсюду!
Когда Человек, чья надежда неутомима,
Всегда бежит, как безумец, чтобы найти покой.

Наша душа — трёхмачтовое судно, ищущее свою Икарию;
Голос отражается от сводов моста: «Прозри»!
Голос с марса, пламенный, безумный, кричит:
«Любовь... слава... счастье!» О, Ад! Впереди риф!

Всякий остров, замеченный сигнальщиком, —
Эльдорадо, обещанное судьбой;
Пирующее Воображение
Находит только риф в утренних лучах.

О, бедный любовник несуществующих стран!
Не заковать ли его и бросить в море,
Этого пьяницу матроса, открывателя Америк,
Чей мираж делает горше пучину?

Так старый бродяга, утаптывающий грязь,
Мечтает, подняв нос в воздух, о сияющих эдемах;
Его очарованный взгляд видит Капую всюду,
Где свеча выхватывает из тьмы конуру.

III

Удивительные путешественники! Какие благородные истории
Читаем мы в ваших глазах, глубоких, словно моря!
Покажите нам ларцы ваших роскошных воспоминаний,
Эти чудесные драгоценности, свершения светил и эфиров.

Мы хотим путешествовать без пара и без паруса!
Чтобы развеять тоску нашего застенка, заставьте
Чуть прикоснуться к нашим душам, натянутым, словно парус,
Ваши воспоминания с их очерченными горизонтом пределами.

Скажите, что вы видели?

IV

«Мы видели светила,
Волны; ещё мы видели пески;
И, несмотря на потрясения и непредвиденные катастрофы,
Мы часто скучали, как здесь.

Величие солнца над фиолетовым морем,
Величие городов в заходящем солнце
Зажигают в наших сердцах беспокойное стремление
Погрузиться в небо с манящим отблеском.

Самые богатые города, самые великолепные пейзажи
Никогда не имели таинственной прелести
Тех, что возникают по воле случая из облаков.
И желание всегда вселяет в нас тревогу!

— Услада прибавляет желанию силы.
О, Желание, старое дерево, почвой которому служит удовольствие
(И оно же делает толще и жёстче твою кору),
Твои ветви хотят видеть солнце ближе!

Будешь ли ты расти всегда, великое дерево, более живучее,
Чем кипарис? — Мы всё же собрали заботливо
Несколько набросков для вашего ненасытного альбома,
О, Братья, находящие красивым всё, что приходит издалека!

Мы приветствовали идолов с хоботами;
Троны, усыпанные светящимися драгоценностями;
Искусно построенные дворцы, чья феерическая роскошь
Была бы разорительной мечтой для ваших банкиров;

Костюмы, что опьяняют глаз,
Женщин с накрашенными зубами и ногтями
И учёных жонглёров, которых ласкает змея».

V

А дальше, дальше?

VI

«О, детские умы!
Чтобы не забыть самого главного,
Повсюду мы видели, отнюдь не стараясь найти его,
Тоскливое зрелище бессмертного греха,
От верха роковой лестницы до самого низа:

Женщина, низкая рабыня, гордая и глупая,
Без смеха обожающая себя, любящая себя без отвращения;
Мужчина, прожорливый тиран, распутник, упрямый и корыстный,
Раб рабыни, ручей в канаве;

Палач, который наслаждается, мученик, который рыдает;
Праздник, который придаёт крови вкус и запах;
Яд власти, раздражающей деспота,
И народ, который влюблён в отупляющий хлыст;

Несколько религий, похожих на нашу,
Все, взбирающиеся на небеса; Святость,
Ищущая наслаждения в гвоздях и волосах,
Пока разборчивый человек нежится в пуховой постели;

Болтливое человечество, опьянённое своим гением,
Безумное, теперь так же, как и когда-то,
Кричащее Богу в яростной агонии:
«О, подобный мне, о, мой господин, я проклинаяю тебя!»

И меньшие дураки, смелые любовники Слабоумия,
Сбежавшие из великого стада, собранного Судьбой в загоне,
И укрывающиеся в безграничном опиумном сне!
Такова вечная книга всего света».

VII

О горькое знание, извлекаемое из путешествия!
Мир, однообразный и маленький, сегодня,
Вчера, завтра, всегда показывает нам наш образ:
Оазис ужаса в пустыне тоски!

Нужно ехать? оставаться? Если можешь остаться, оставайся;
Уезжай, если нужно. Один бежит, другой прячется, — всё для того,
Чтобы обмануть всевидящего и грозного врага,
Время! Есть гонцы, которые бегут без передышки,

Как вечный жид или апостолы,
Которым не достаточно ни вагона поезда, ни корабля,
Чтобы сбежать от этого гнусного ретиария; и есть другие —
Которые умеют убивать его, не покидая своих колыбелей.

Когда, наконец, оно наступит ногой нам на хребет,
Мы сможем надеяться и кричать «Вперёд!»
Так же, как когда мы отправлялись в Китай и
Наши глаза были прикованы к океану, а волосы развевались
на ветру.

Мы поплывём по морю Теней,
Радуюсь сердцем, как юный путешественник.
Услышите эти очаровывающие и мрачные голоса,
Поющие: «Сюда! Вы, желающие поглотить

Ароматный Лотос! Здесь мы собираем
Чудесные фрукты, которых жаждет ваша утроба;
Опьяните себя странной сладостью
Этого полдня, у которого никогда не было конца!»

Мы узнаем призрака по знакомому выговору;
Там внизу наши Пилалы тянут к нам руки.
«Освежи своё сердце — плыви к своей Электре!» —
Говорит та, чьи колени мы когда-то целовали.

VIII

О, Смерть, старый капитан, пора! поднимем якорь!
Нам скучен этот край, о, Смерть! Отплываем!
Когда небо и море черны, словно чернила,
Наши сердца, известные тебе, полны лучей!

Лей же свой яд, он нас утешит!
Мы хотим — так жжёт мозг этот огонь —
Погрузиться на дно этой пучины, неважно — Ад или Рай,
В глубину Неизвестного, чтобы обрести *новое*.

Примечания

Максим дю Кан — друг Бодлера, по отношению к которому у Бодлера был некий долг благодарности. Однако в посвящении стихотворения Дю Кану была и некоторая тайная насмешка: Дю Кан был большим путешественником, но прежде всего был известен как горячий сторонник Прогресса, хотя в *Fusees* Бодлер пишет: «Что может быть абсурднее, чем Прогресс, так как человек, и это доказывается повседневностью, всегда подобен и равен человеку, то есть всегда в диком состоянии». В письме, с которым было отправлено стихотворение, Бодлер, впрочем, откровенно объяснился с Дю Каном: «... если систематически байроновский тон этой маленькой поэмы вам не понравился, если, например, вы были шокированы моими насмешками против Прогресса, или же тем, что Путешественник признаётся, что видел только пошлость, или, наконец, вообще чем-нибудь, скажите об этом мне, не стесняясь...».

Цирцея — волшебница, удерживавшая Одиссея в плену на своём острове.

Икария — мифическая страна из социалистической утопии «Путешествия в Икарию» (1840) Кабэ (1788-1856), то же, что Эльдорадо.

Марс — площадка на верху мачты, служащая для наблюдения над горизонтом.

Колыбель (*berceau*) — вероятно, Бодлер имел в виду раннее детство или родной дом.

Капуя — древний город в Кампании (Италия). Ср. французскую идиому *delice de Capoue* — капуанская нега, расслабление.

Ретиарий — гладиатор с сетью.

Пилал — ближайший друг Ореста, героя греческих мифов.

Электра — сестра Ореста.

Джон Китс

К ДЖ. А. У.

О, Нимфа робкой улыбки и отведённого взгляда,
В какие божественные моменты дня
Ты более всего прекрасна? Когда заходишь далеко
По лабиринтам сладкой речи? Или когда, уносясь,
Небрежно одета, навстречу утреннему лучу,
Ты разбрасываешь цветы в своём запутанном танце?
Может быть, тогда, когда твои губы сладостно приоткрываются
И замирают, ибо ты внимаешь;
Но целиком лишь радовать ты создана природой,
И я никогда не смогу сказать, что лучшее в тебе.
Скорее уж назову ту из Муз,
Которая милее всех танцует перед Аполлоном.

Примечания

Дж. А. У. — Джорджина Августа Уайли, жена Джорджа Китса, брата поэта, эмигрировала с мужем в Америку.



СЮЖЕТЫ ЗЕРКАЛЬНЫХ КНИГ

ЗНАКОМСТВО С ПУДИНГОМ

*...ведь современный читатель способ
чтения не меняет никогда.*

Милорад Павич

*Историй всего четыре. И сколько бы
времени нам ни осталось, мы будем пе-
ресказывать их — в том или ином виде.*

Хорхе Луис Борхес

*— Знакомьтесь! Пудинг, это Алиса.
Алиса, это Пудинг. Унесите пудинг!..*

Льюис Кэрролл

Сейчас нам хотелось бы написать: с одной сто-
роны — предельно конкретно и ясно. Может быть,
даже сухо, без привычных украшательств и испы-
танных образных приёмов. Исключительно с це-
лью донести без искажения, — которое в доста-
точной степени возможно при излишнем увлече-
нии метафорами, — основную идею. По этой при-
чине нами и была выбрана форма набросков ос-

Анастасия ЯРОВАЯ (1972 г. р.) — прозаик, эссеист. Закончила филологический факультет ИГУ. Лауреат конференции «Молодость. Творчество. Современность». Печатается и работает в региональном приложении газеты «Труд». Живёт в Иркутске.

новой мысли, простейшее описание сюжета и даже не собственно сюжета, а лишь его идеи.

Но подход к предмету исследования требовал также и того, чтобы каждая буква подрагивала от перелистывания страниц. Только представьте себе: человек берет книгу, раскрывает, и слова мелодично позванивают в ответ — словно «воздушные флейты», висящие над входом в гостеприимный дом. Но фокус в том, что флейты звенят не для всех, а лишь тем, кто знает ритуал: входя в дом — коснись их рукой. Жест, означающий «мир вам!». И флейты прозвучат в ответ — «мир вам!». Так и нам хотелось бы со своими набросками сюжетов: наш мир открыт вам, если вы готовы его принять.

Все остальные пусть останутся при своём: никто ничего не теряет, когда «воздушные флейты» молчат без движения. Но и не приобретает.

Вам — перебирающим наши слова, разбирающим наши буквы, касающимся наших страниц. Вам — тем, кому не требуется объяснений для чего и зачем, кто не спрашивает почему, кого не смущает необходимость со-авторства с нами: ведь это не книги, а всего-навсего их наброски, сюжеты, а значит, вам предстоит в своем воображении дорисовать детали. Вам — кто видит в зеркале Другого. Вам и только вам наши «Сюжеты зеркальных книг».

При обращении с зеркалом необходимо помнить, что правая рука в зеркале — левая, а левая — правая. Та же метаморфоза касается ног, ушей и глаз, то есть достаточного количества частей обыкновенного человеческого тела, не тронутого какими-либо изъянами и увечьями. Кроме того, если вы идёте навстречу зеркалу, то Тот идёт вам навстречу, то есть в противоположную вашему движению сторону. Если бы у Него была возможность, то Он, продолжая движение, пришёл бы туда, откуда пришли вы. Образно говоря: попал бы в ваше прошлое. Так же как и вы: ваше предполагаемое будущее — это всего лишь прошлое Того. Но возможности подобного движения ни у кого нет: жизнь считается непроницающей. Ни отсюда сюда, ни отсюда туда. И всё же как знать: не надеваем ли мы ту или иную одежду, — а человек от человека

зачастую отличается лишь тем, что на нём надето, — только для того, чтобы соответствовать одежде Того. А не наоборот, как принято считать. Ведь каждый из вас живёт самостоятельной жизнью. Каждый из нас и каждый из Них.

Зеркальность можно было бы воспринять, как вывернутость наизнанку, поставленность с ног на голову, вверх тормашками и прочую всеобщую наоборотность. Но зеркальность обычно немного больше, чем просто «наоборот» при видимой похожести. Это взгляд в противоположном направлении, несмотря на то, что глаза — в глаза: «сначала раздай пироги, а потом разрежь», а вообще-то «как ты можешь резать его?! Вас ведь только что познакомили!».

Старые детские игры: буквы отражённые выглядят диковинно, и слова, которые складываются из них, выглядят по меньшей мере странно. А значит, у них совсем иной смысл. Но если представить себе, что книга, поднесённая к зеркалу, отражается в нём не на уровне слов, а на уровне смысла? Насколько тогда изменятся отдельные слова такой книги? Слова станут встречными, правое — левым, левое — правым, будущее — прошлым, прошлое — будущим. Сюжет останется. Поменяется смысл. Только и всего.

Только. И — всего.

Один из практиков и теоретиков слова — счастливое сочетание писателя и библиотекаря! — выделяет четыре великих сюжета, которые так или иначе, в той или иной форме, из раза в раз повторяются и будут повторяться. История об укреплённом городе, который штурмуют и обороняют герои. История о возвращении героя. История о поиске. История о самоубийстве бога.

У нас нет оснований не принимать предложенных четырех историй. Мы лишь представим их — на свой страх и риск! — с некоторыми поправками на нашу точку зрения, в несколько расширенном виде. Получится: история о преодолении, история о путешествии, история о поиске, история о жертве. В конце концов, любовь, смерть, счастье, добро, человеческие пороки и добродетели, ценности, блага, бедствия, всё, что угодно, вполне укладываются в эти четыре схемы. Если немного подумать.

А теперь пришла пора «знакомиться с Пу-

дингом»: поднесём к зеркалу великий сюжет и попробуем его прочитать. И первым должен стать, без всякого сомнения, один из самых глобальных сюжетов — аналогия всей человеческой жизни. Путешествие.

Любое путешествие предполагает наличие дали: некое пространственное перемещение, весьма длительное, возможно, разнообразное, или же наоборот. Но всегда, так или иначе — перемещение вдаль (длительность расстояния значения не имеет). Путешествуют обычно с какой-нибудь целью, явной или скрытой, в поисках кого-либо, чего-либо, следуя за кем-то, за чем-то, преследуя личный или неличный интерес. В путешествие — отправляются, из путешествия — возвращаются. Это полный круг: пуститься в путь, достичь некоторых результатов, вернуться обратно. Однако возможны варианты:

- пуститься в путь, ничего не достигнув, вернуться обратно;
- пуститься в путь, достигнув совсем не того, чего хотелось, вернуться обратно;
- пуститься в путь, понять, что желаемое недостижимо...;
- пуститься в путь... не вернуться обратно;
- пуститься в бесконечный путь, не предполагающий возвращения;
- или же одно бесконечное возвращение;
- и так далее.

Но наличие пути обязательно: всякое путешествие начинается именно с отправления в путь.

Таким образом, в зеркальной книге о путешествии не будет отправления в путь в том смысле, что путь — это некоторое перемещение вдаль. Зеркальная даль — это глубина. Потому — путешествие вглубь. И начнётся оно не с момента отправления в путь (которое, если немного усложнить, уже есть возвращение, в то время как возвращение — только начало), а с момента осознания, что ты уже в пути и что твой путь — вглубь. Обычно такое осознание приходит слишком поздно, когда уже нет возможности повернуть назад, и коль скоро зеркальное возвращение есть лишь незеркальное начало единого, общего пути, то остаётся единственный возможный выход: продолжая движение вглубь (которое и есть вдаль), стремиться к

Началу, к истоку (то есть возвращаться. Возможно, что к самому себе).

Возвращение к самому себе ждёт каждого из нас впереди. При условии, что мы поняли: наше движение вдаль жизни — лишь движение вглубь самого себя.

Хотя многие путешествия часто затеваются именно ради поиска, сам поиск обязательно будет предполагать путешествие. Мы вполне можем выделить поиск в самостоятельный сюжет по нескольким причинам, главная из которых: искать можно что угодно, где угодно и когда угодно — поиск загадочного, таинственного, волшебного, поиск смысла, доказательства, итога, поиск любви, идеи, себя. Согласитесь, что путешествие в подобных случаях требуется не всегда. Требуется действие совсем иного плана и, более того, совсем не наше действие. Логично предположить, что предмет поиска, который мы ищем и находим (или не находим), в зеркале будет представлять собой всего лишь чью-то потерю. Вспомните: «кто-то теряет, кто-то находит». Мы ищем то, что потеряно не нами.

Ибо ничто не бывает из ничего. И нечто всегда что-то.

Говоря о путешествии и о поиске, мы прежде всего имеем в виду собственно путь и собственно цель и не обращаем внимание на путь, ведущий к цели. Совмещение двух понятий в единое целое дает нам третий сюжет: сюжет о преодолении.

Осада и падение города — такой пример приводит Борхес. Согласившись, всё же добавим сюда любые трудности и битвы: начиная с преодоления препятствий на пути, ведущем к цели, и заканчивая преодолением опять-таки себя.

Преодоление всегда в выигрыше: либо мы побеждаем, достигнув желаемого, преодолев все трудности; либо мы побеждаем, не достигнув желаемого, но потому что преодолевали трудности — по принципу «под лежащий камень вода не течёт». Преодоление всегда борьба: на одной из сторон, с большим или меньшим успехом. Нет борьбы — нет преодоления. Значит, зеркальная книга получится о таком преодолении, которое есть смирение. Ведь безоговорочное, бесповоротное смирение и есть обратная сторона

любого преодоления. Возможно ли абсолютное смирение, которое есть отречение от собственного «я»? Пожалуй, слишком бездонный вопрос, даже для зеркала. И всё-таки, если попытаться... тогда мы неизбежно выйдем на сюжет о жертве.

Жертва всегда во имя и ради. Но жертва ради самой себя — бессмысленна и кощунственна. По некотором размышлении получается, что любая жертва перед зеркалом будет выглядеть бессмысленно: уровень или, если угодно, цена жертвы известна только тому, кто её приносит. Всем остальным до этого нет никакого дела. И только когда придёт их черед, тогда они поймут. Но будет уже слишком поздно что-нибудь понимать.

Вглядитесь в зеркало. Не Тот ли, Другой, принимает вашу жертву (а ведь его нет без вас)? Не он ли отхватывает львиную долю того пирога, который вы раздаёте для того, чтобы после разрезать (или всё-таки вас нет без него)? Закон зеркала: наоборот. Закон путешествия: вглубь сложнее, чем вдаль. Закон поиска: найти труднее, чем потерять. Закон преодоления: смириться труднее, чем бороться. Закон жертвы: тот, для кого жертва, не достоин самой жертвы.

...Но где же те самые звенящие слова, подрагивающие, похожие на «воздушные флей-

ты» и т. п. Все-таки они не дают нам покоя, ведь всё то, что вы только что прочитали, не более чем обещанное в первом абзаце «с одной стороны». А с другой стороны, — где оно? Должно быть! Должно быть... Должно быть, оно где-то на подходе.

Близятся звуки других слов. Слов-картинок, слов-иллюстраций, слов-иллюзий, слов-аллюзий всего того, что «с другой стороны».

Но для этого надо писать книги. Может быть...

Вот, собственно, и всё. Итог: неуверенный эксперимент в собственном литературоведении, основанный на фундаментальном литературоведении, робкая попытка подражания манере Борхеса, идее Кэрролла. Игры с книгами и зеркалами всегда доставляли нам особенное удовольствие угадывания и узнавания.

Кому это «нам»?

Мне и моему отражению.

Чтобы написать книгу, надо обладать большим мужеством, чувством огромной ответственности и осознанием собственного долга перед Литературой. Иначе зачем?

Но можно попытаться написать всего несколько слов-иллюстраций (тех самых!), чтобы на самом деле познакомится с Пудингом.

Пока его ещё не унесли.

ТАМ, ГДЕ ФИОЛЕТОВАЯ ТРАВА

(Путешествие)

Люди шли по земле. Много людей — целый народ. Земли тоже было много: большая, необъятная, некончающаяся. И чужая. Люди шли в поисках своей земли.

Народ вёл Человек. Он был худ и жилист, а значит — вынослив. Скулы резко выступали на смуглом лице, лоб расчертила угрюмая складка глубокой задумчивости. Пряди спутавшихся волос слабо трепетали на ветру. Человек шёл и смотрел под ноги, на землю. За ним шёл народ.

Среди народа была девушка. Она брела вместе со всеми. Но шла не за Человеком, как все, а вместе с ним. Она тоже смотрела вниз, на землю. А народ смотрел по сторонам

и в небо. Народ привык, что путь за него выбирает Человек.

Уже закончилась обычная земля и началась Степь. Народ вдыхал запах полыни и щурил глаза от налетающего вольного ветра.

Человек остановился. Смотрел в Степь. Не было ни конца у нее, ни горизонта. Всё слилось в Единое. «Значит здесь — быть», — подумал Человек и сказал народу:

— Мы пришли в землю фиолетовой травы. Эта земля зовётся Степь. Мы будем жить в Степи. Здесь родятся наши дети. Здесь умрут наши старики. Здесь мы — будем.

И народ стал жить в Степи. В земле с

фиолетовой травой. Было у народа, кроме земли и травы, небо и ветер. Но не было чего-то, может быть, главного. А потому не было покоя. Человек чувствовал это. Но он знал и то, что именно Степь — их земля. Противоречие мучило его. Каждую ночь раскрывавшимися губами он спрашивал у звёзд ответа, просил указать путь. Но звёзды молчали.

— Что делать нам? — спросил тогда Человек у девушки. Он знал, что она идёт не за ним, а вместе с ним.

И девушка сказала ему:

— Ты видишь: земля фиолетовой травы бесконечна. Ты знаешь, что она не кончается даже за горизонтом. И это — наша земля. Нам жить в Степи. Но мы лишь в начале пути. Нам ещё суждено пройти его. Дальше. Вглубь. В Степь. И там построить Храм. И тогда — жить.

Человек укрепился в своих сомнениях, и они перестали мучить его. Он поднял народ и повёл его. Перед ними лежал путь по земле с фиолетовой травой.

Девушка шла последней. Силы оставляли её. Всё чаще она прикидывала к земле, чтобы взять у неё хоть немного сил. Всё слабее был её шепот, обращённый к фиолетовой траве. Всё дальше уходил от неё народ.

ДЫРКА

(Поиск)

В дырку было видно много интересного. Сначала какая-то женщина — «баба» — нещадно била какого-то пацана. Само по себе это уже привлекает. А тут ещё пацан покорно молчал и не сопротивлялся.

«Значит, тебя за дело бьют, дружок», — сделал собственный вывод Некитин, который наблюдал эту сцену.

Только он так подумал, тут же увидел, как пацан, совсем согнувшись под ударами, вдруг резко протаранил бабу в живот. Та упала. И будто выключился звук. Как в кино. Тем более, дальнейшее в дырке было уже стопроцентное кино с привлекательным хеппи-эндом: мужик (и с чего это показалось, что пацан?) помог женщине подняться и отряхнуться. Затем она взяла его под руку и

И когда силы совсем ушли из её легкого тела, и душа стала медленно освобождаться от своей земной оболочки, зазвенели вдруг тысячи колокольчиков и слетелись со всей Степи бабочки. Они подхватили освободившуюся душу и понесли в Степь.

Они пролетели над бредущим народом. И народ принял это как чудо, хотя уже перестал верить в чудеса и был готов принять смерть в пути. Народ возликовал. И тогда же увидел впереди Воду: полноводная река спешила к далёкому морю.

Человек остановился и из-под руки глядел в Степь. Он видел, как бабочки оставили Душу, и она, подрагивая от ветра и лучей заходящего солнца, медленно опустилась на камни. На небе зажглась первая звезда.

Человек опустился на колени. Его народ последовал за ним.

— Здесь будет Храм, — сказал Человек, простирая руку к камням. Люди поняли, что они — пришли.

Человек поднялся с колен. Фиолетовая трава распрямилась. Река торопилась к морю. Человек позвал к себе мудрого древнего старика и спросил:

— Как называется эта Вода?

— Танаис, — ответил старик.

— Такое имя будет и у города...

тихо-мирно они пошли себе, пошли. Да так ловко и ладно пошли, что Некитин ощутил противоречивое чувство удовлетворённого сожаления.

Но чувство это быстро прошло: потому что в дырку стали видны ещё более захватывающие события. Настолько любопытные, что Некитин тут же решил принять в них непосредственное участие. Некитин заторопился, чтобы не опоздать.

В дырку он бы не пролез — она была маленькая, от выпавшего сучка в заборе. Забор, в свою очередь, был довольно высоким и длинным. Будь он пониже, Некитин, может, и попытался бы перелезть. Но, в любом случае, мучиться не стоило: Некитин знал, что во всяком деревянном заборе, кроме дырок и

щелей, обязательно бывают калитки. Хоть одна. Или, в крайнем случае, какая-нибудь доска, которая держится на одном гвозде, а значит — отодвигается. И наконец, просто забор может кончиться.

Некитин побежал вдоль забора.

Бежал он быстро, боясь опоздать. Но калитка всё не попадалась, а забор — не кончался.

Запыхавшись, Некитин остановился и попытался рассуждать здраво. Во-первых, от дырки он убежал далеко, а значит, и от события по ту сторону забора, куда он так спешил, тоже. Это означало, что найди он сейчас где-нибудь впереди калитку, ему всё равно пришлось пробежать бы ещё столько же — уже назад. Такими темпами он мог попасть разве что к шапочному разбору. Поэтому «вторых» думать было уже некогда.

Некитин резко повернул обратно и снова побежал в сторону дырки. Правда, теперь он бежал медленнее, потому что ему приходилось толкать рукой каждую доску, проверяя — не отодвигается ли она в сторону.

Через некоторое время Некитин пожалел, что побежал назад: всё-таки надо было продолжать двигаться вперед. Но толкая при этом доски. Так он мог убить двух зайцев: и доски бы проверил, и калитку, может быть, встретил. Теперь же калитка ему наверняка не встретится. Разве что — доска. Но шансов всё равно в два раза меньше.

Некитин в сердцах сплюнул себе под ноги, в вытопанную траву, и повернул обратно. Некоторое время он просто бежал вдоль забора: эти доски были уже проверены — все они крепко сидели на своих гвоздях.

Бежать, не отвлекаясь на забор, было несравненно легче, поэтому Некитин стремился так пробежать как можно дольше, оправдывая себя тем, что вот эту, и эту, и следующую он уже проверял. Но! Кого он обманывает!? самого себя. Так ему ни за что не попасть по ту сторону забора.

Некитин остановился и огляделся по сторонам, пытаясь найти какой-нибудь ориентир, который мог бы служить меткой, точкой отсчета. Но кругом была только короткая вытопанная трава. Некитин посмотрел вверх. Но облака не могли служить ориентиром — они постоянно двигались. Доски забора, окрашенные краской неопределенного цвета,

были похожи одна на другую. И это — всё. Приходилось довольствоваться тем, что было. Некитин стал вглядываться в доски, стараясь заметить какую-нибудь запоминающуюся особенность: облупившуюся краску, гнутый гвоздь, какую-нибудь неровность, сучок... Дырка! Как же он мог забыть про дырку! Лучшего ориентира и придумать нельзя.

Он радостно побежал вдоль забора, слегка ругая самого себя: «Это ж надо! Про дырку-то и забыл. Как меня угораздило? Но сейчас всё пойдёт на лад. Только..» — Некитин вдруг понял: он не знает в какой стороне её искать.

Дальше произошло худшее из того, что могло произойти: Некитин стал метаться. Он бегал вдоль забора то туда, то сюда, торопливо стуча по доскам руками, забывая искать глазами дырку, от этого снова возвращаясь. Вперёд-назад, вперёд-назад. Снова назад, ещё чуть-чуть. Чтобы потом опять — вперёд. Который уже назад. Или вперёд. Или прямо. Или вправо. Или влево. Идти. Куда-нибудь.

Некитин устало повалился на землю, прислонившись спиной к злополучному забору. Давно уже вечерело, а он всё ещё не попал по ту сторону. И даже дырку не нашёл.

Он закрыл глаза и попытался выкинуть из головы все мысли: нужные, ненужные, полезные, не очень, бесполезные, умные, глупые и любые. Отчасти ему это удалось, он даже смог вздохнуть с некоторым равнодушно-отречённым облегчением. Если бы не одна коварная мысль, от которой никак не удавалось избавиться до конца.

Из-за неё Некитину пришлось открыть глаза. Уже появились звёзды.

«По ним и пойду», — решил Некитин, начав двигаться вдоль забора. Теперь он не торопился. Доски были тёплые — нагрелись за день. «Может, переждать ночь, прислонившись к ним спиной?» — подумал было Некитин, но ту мысль на ходу думать было легче.

Ночь кончилась. А забор нет. Пока шёл, Некитин вспомнил множество фактов, событий, случаев из своей жизни, из жизней чужих и даже не из жизни вообще.

Среди прочих было приобретённое некогда знание, что заблудившийся человек, дви-

гаясь только прямо, в итоге начинает ходить по кругу. Потому что одной ногой он делает больший шаг, чем другой. Всё дело в том, что шаги не одинаковы.

Некитин стал смотреть под ноги, пытаясь уловить: одинаковые у него шаги или нет. В итоге, ему стало казаться, что и впрямь, правой ногой он шагает дальше.

Таким образом, выходило, что он идёт не

просто вдоль забора, а вдоль круглого забора!

А калитка всё не встречалась.

Теперь Некитину предстояло выяснить: с какой стороны круглого забора он находится? Внутри или за его пределами?

Выяснить это было не так-то просто. Для начала требовалось хотя бы заглянуть за забор.

Некитин пошёл вдоль забора искать хоть какую-нибудь дырку.

ЖЁЛТЫЕ ЛИСТЬЯ

(Преодоление)

Жёлтые листья под белым снегом. Не поздняя осень, но ранняя зима. Даже если снег растает — всё равно: уже зима. Но осень, осень... Жёлтые листья под белым снегом.

— Сегодня мы смешивали цвета, — рассказывал сын. — Мы брали синий, подмешивали к нему белый, и получался голубой. Чем больше белого, тем светлее голубой...

Так и с небом: чем больше снега, тем прозрачнее небо. Тем прозрачнее. Только осенью такое пронзительное небо. А осенью то вся в снегу. Земля в снегу. Листья в снегу. Мысли в снегу. Припорошило. Запорошило. Занесло.

Куда же занесло меня? Найду ли выход? Всегда ли выход — путь? Выход — как выдох. На морозе выдох видно — словно облако у губ. Дождь у глаз. Не плачу, но такая тоска — и мёрзнут пальцы: я пытаюсь из-под снега вынуть жёлтые листья. Пожелтевшие листья, опавшие. Рассыпаны по всей осени, по всей земле, если на земле — осень. Даже несмотря на снег.

Отогреваю пальцы дыханием. Снег тает. Но жёлтые листья не отогреть, листьям не отогреться.

А я...

Внутри меня идёт белый снег. Он засыпает мои жёлтые листья. Внутри меня осень превращается в зиму — дыши-не дыши, не отогреть замёрзших рук. Внутри меня.

Чем больше белого, тем светлее. И жёлтый постепенно исчезает.

...Восемь лет назад я написала: «...но мальчику — год. И я всё прощаю. Себе, вам и злomu миру». Восемь лет должно было прой-

ти, чтобы ко мне наконец пришло понимание, что мир — не злой и не добрый. И никакой другой. Потому что именно: никакой. В отличие от нас, злых, добрых и прочих.

И вот снова: мальчику — год. Второй раз в жизни для меня случается это событие: моему сыну — год. Но теперь я понимаю, что это мне пришла пора просить прощения: у мира, у вас, у себя. Испрашивать, как вымаливать. Потому что это я была зла, а не мир, это я совершала ошибки и жила не так, как сама того хотела.

За сыновей — молюсь. За того, которому год, и за того, которому скоро девять.

А снег всё ещё падал с неба, с нег снеба, засыпал листья, и мир вокруг засыпал. И мне подумалось — вдруг, неожиданно, внезапно подумалось, как придумалось, — что ведь это — последняя осень нашего тысячелетия. Другой осени в этом тысячелетии больше не будет. Будет ещё множество осеней, множество зим и весен (а лет? будет ли множество лет на земле, точнее, на Земле? Отпущено ли Земле множество лет?), но все они будут в будущем, в новом, в третьем тысячелетии, а вот в этом, в нашем нынешнем, в уходящем втором, осени больше не будет. Последняя осень, и она пришла. И она проходит — вот уже и снега всё больше, как самой настоящей зимой. И листья жёлтые и желтеющие уже не летят с деревьев (боже мой! как мне нравится эта фраза «листья летят с деревьев» — не с деревьев, а именно с деревьев, уже не первый раз её употребляю и всё равно — употребляю, использую с удовольствием и радостью. Ибо что может быть лучше и красивее осенью, чем

листья, летящие с деревьев!) — не летят, потому что давно уже отлетали свое. Теперь летит снег, покрывая дороги, землю и листья, покрывая собой, покрывая белым. Последняя осень — прощальная. Прощай, уходящее тысячелетие, теперь ты становишься прошлым. Как и всё, чему суждено быть.

Суждено быть и листьям. Суждено быть и снегу. Суждено быть и мне, и моим сыновьям. И миру тоже быть — суждено. Не в этом ли смысл — сущего и существующего, вечного и временного, понятного и простого (а кто-то ждал противопоставления? но стилистические фигуры здесь ни при чём, ибо не в них суть).

Когда-то я была...

Теперь я есть. Буду ли? Как и всё окружающее не знает на то ответ, не знаю его и я. Да и вряд ли хочу знать.

Холодны и безжизненны заледенелые жёлтые листья. Я держу их на раскрытой обнажённой ладони. И лёд начинает таять. А рука замерзает. Но это ничего: рука ещё отогреется, а листья, а жёлтые листья...

Листы мои, страсть моя... Зачем в последнюю осень уходящего тысячелетия передо мной снова встаёт этот неудобный вопрос: зачем? Зачем заполняю я белые, превосходно-непорочные прекрасные листы бумаги своими подчас нелепыми, ужасными и страдающими буквами, словами, своими текстами, чья необходимость далеко не бесспорна? Для чего, для чего, для кого? И подаренная мне некогда мудрость вспыхивает всё ярче и всё настойчивее: «Прежде чем написать что-нибудь, посмотри: как прекрасен чистый лист бумаги».

«Прежде чем написать что-нибудь... посмотри...

как прекрасен чистый лист бумаги».

Всё больше исписанных листов в моей жизни. Так зачем же? Боюсь ответа — как обвинения в графоманстве.

Но ведь кто-то же должен написать о моих жёлтых листьях. Написать о моих жёлтых листьях, которые засыпает снег. Написать о прощальной осени. О моем коленопреклонении перед миром. Написать обо всем этом моими словами, моими чувствами. Написать на прекрасном, непорочном листе бумаги, белом, как снег, чистом, как осеннее небо. Никто, кроме меня, не напишет о моих листьях, моём небе и моей осени — последней в этом тысячелетии.

И я пишу. Для себя и для вас. И для вас. И для вас. И для вас тоже. Вы ведь узнали себя, правда? Вы ведь почувствовали, что вот именно здесь я обращаюсь именно к вам? А здесь — к вам.

Жёлтые мои листья...

Осень прощальная...

Когда-нибудь я расскажу о вас моим сыновьям. Может быть, даже завтра. Или прямо сейчас. И свой рассказ я начну так:

«Жёлтые листья под белым снегом...»

Потом я немного помолчу. Послушаю шуршание времени — это уходит последняя осень, уходит тысячелетие. Посмотрю на снег и скажу вслух:

— Вы должны быть счастливы, мальчики мои.

Мы все должны быть счастливы.

МАДОННА С МЛАДЕНЦЕМ

(Жертва)

Мария лежала в ванне и смотрела на своё тело. Под водой оно казалось плоским, каким-то ненастоящим, даже чужим. Марии представлялось — взгляд со стороны, как бы немного сверху, то есть и с высоты положения, и с высоты обыкновенного человеческого роста, — что это не она сейчас лежит в ванне, наполненной расслабляющей, размягчающей, обволакивающей водой. Какая-то другая женщина. Не Мария.

Она — та женщина, — расслабила руки, и кисти медленно потянуло вверх. На поверхности они приобрели свои натуральные очертания, не искажённые водой. Захотелось лечь на воду всем телом, расслабив ноги, живот, грудь — всю себя расслабив. Лежать на воде и смотреть в небо. Видеть там — днём! — звезды. И ни о чем не думать.

Ванна была коротковата. Мария лежала в ней, согнув ноги в коленях, неудобно уперев-

шись затылком в холодный борт. Напротив из крана изредка капали тяжелые капли. Они падали на воду, и поверхность её покрывалась на какое-то мгновение небольшой рябью. Потом всё стихало до следующей капли.

Даже вода дрожит, подумала Мария. И это я, а не кто-то. Боже мой!

«Боже мой! Есть ли счастье иное в жизни, дарованной тобой? Дарованное тобой. Есть ли иная подлинная радость от бытия до небытия, иное предназначение? Подлинное предназначение. Иначе зачем я есть в мире — благодатнейшем из миров? Благо дати всем нам живущим. Зачем создан мир, в котором и есть я, в котором и дано мне быть ради и во имя? Я знаю ответ, Боже мой, Господине Пресветлый, да святится имя Твое во веки вечные. Но робость отныне и теперь навсегда в чреве моём и неуёмная дрожь моих чресел разносится по телу горьким страхом невозможного. Ибо таинство сие — непосильная ноша мне. Ты знаешь. Ты знаешь грех мой молчаливого вымаливания недоступного. И ты даровал мне. Да велико имя Твое будет от изначала до бесконца! Но отпусти же мне грех неправедной просьбы, ибо уже наказана я тем, что она сбылась. Ты знаешь, Боже мой, что сколь искренни были слова моей невысказанной, но такой явной просьбы, столь и невозможно, чтобы они сбылись. Каюсь и уповаю. Отказываюсь от Дара, Боже мой... Боже мой...»

Нервная дрожь. Мария обхватила руками живот, крест накрест. Заставила себя успокоиться. И вода, взволновавшись, тоже постепенно успокоилась.

Вода. Всегда вода. Всего вода. Во всём вода. Мария закрыла глаза и поплыла. Тёплая, уютная вода, обволакивающая и густая, словно парное молоко. Где-то есть небесная священная корова, даровавшая Млечный путь... Мягкая вода, нежная, ласкающая, словно родные руки. Мама гладит по голове, рука её скользит среди волос... Спокойная вода, величественная. Потому что в воде зарождается жизнь. Без воды жизни нет. Так бы и плыть и плыть, ощущая телом прикосновение воды, ощущая в теле — жизнь.

Как грудь, набухая и тяжелея, наполняется молоком, так безграничная нежность к этой миллиарды раз повторённой картинке: женщина, обнажившая грудь, и ребёнок, тя-

нущийся к ней губами, — захлестывает волнами, волнами. И нет другого такого чуда во всём Млечном пути.

Мария открыла глаза, снова посмотрела на своё тело: не она ли только что была той самой мадонной? Не она.

Всё-таки тридцать девять лет. Почти срок. Почти срок. Последний. Когда был, был, а потом весь вышел. Неожиданно почти. Но — почти. А значит, немножко, да осталось. На излёте, но — лететь! Самый последний рывок, устремлённый к небу, но на самом деле — а то, что на самом деле оказывается, всегда выясняется впоследствии, так что можно это «на самом деле» в расчёт не брать, — земное притяжение уже чересчур сильно. Не оторвать от земли ног, не отнять от тела рук. Взмахивай, не взмахивай — не оторваться. От дел и от не-дел. От родных и не-родных. От всего земного и... Пожалуй, что в её нынешнем представлении это и было самое неземное. Неземное счастье. Неземное блаженство. (А кто-то считал: блажь.) Неземное — это почти как неизведанное. Неиспробованное, несмотря на двух взрослых детей. Таких взрослых, что дочь уже собиралась замуж. После чего и случится ещё один ребёнок, который и будет её ребёнком: маленькая внучка. Но это совсем не то!

Полжизни прожив, она поняла, что за все эти полжизни ей не удалось одно-единственное дело: исполнить до дна, — как испить! крупными, жадными глотками, так чтобы струйки стекали по подбородку на грудь, и в этом было ощущение абсолютного счастья, — своё женское предназначение. Быть женщиной — быть матерью.

А ведь было столько возможностей. Сын и дочь, ещё страшный грех двух неродившихся детей, ещё долгие годы неосознания, что можно не успеть. Всё это было, а материнства не было. И вот теперь, когда возможности сошли на нет, исчерпав сами себя, когда уже почти сорок... и почки барахлят... и деньки слетают с жизни, как листки отрывного календаря — чем ближе к концу, тем быстрее... и деньги до сих пор никто не отменил, а жаль... и муж растерян от случившегося и даже напуган немного... и работа... и снова деньги... и врачи сказали, что ни в коем случае... Да плевала бы она на то, что сказали врачи! И на почки плевала бы и на почти.

Но. но. но. но. Словно лошадь погоняют. Так и она жила сейчас, как загнанная лошадь. А всё почему? А всё потому, что уже почти сорок и осталось-то всего ничего, в лучшем случае столько же. Жизни. Потому спешит теперь доживать. Так чтобы не было мучительно больно и далее по тексту. И кто только такой текст придумал? А никто. Мы сами, по своему вкусу и возможностям, выбираем себе оправдание, оправдание своему не-деланию и, наоборот, деланию. Не без надежды, что в старости нам не придётся кусать губы в расстройстве из-за несбывшихся надежд и неиспользованных возможностей.

Конечно, проще всего жить спокойно и размеренно. Для сорока лет это означает, что наступает пора пожинания плодов, сотворённых в молодости. Но как быть, если и в сорок ничто ещё не кончилось? И дело вовсе не в том, что душа молода и прочая дребедень, а в том, что каждому — своё время для исполнения предназначенного, для испытания предназначенным. Всю жизнь она думала, что всё у неё идёт по плану и ничего ей больше не требуется. Но — однажды увидела крошечную девочку в коляске и молодую счастливую женщину, которая эту коляску катила. И Мария вдруг почувствовала, что эта женщина с ребёнком — мадонна с младенцем! — она сама. И три года длилось наваждение. Три года она мечтала и не смела познать, наконец, то, до сих пор непознанное. Тело хоте-

ло. Разум осознавал неразумность. Тело было готово, разум говорил о невозможности. А душа всё это время металась между телом и разумом. И не знала, как быть.

Самой счастливой она была, когда узнала, самой несчастной она была.

Всё вокруг говорило: нет! И только тело задышалось восторгом: да!

Самой несчастной она была, самой счастливой.

И теперь, когда «ни охнуть, ни вдохнуть», когда с каждым днём всё страшнее и больнее расставаться... когда понимаешь, что слишком много в тебе здравого смысла, которому уже сорок лет отроду... когда знаешь, что не пустой звук такое слово и чувство, как ответственность: за жизнь, перед другими, перед Ним... когда понимаешь, что это действительно Последний шанс, дарованный свыше, и больше такого не будет за всю твою оставшуюся жизнь, но ты вынуждена не принять его, пусть и с кровавыми слезами — сердце плачет, сердце, а не глаза.

...Марию бил озноб, ей казалось, что вода совсем остыла. Дрожащей рукой она повернула кран. Горячее, ещё горячее! Мария не могла уже терпеть, так было горячо. Жгло тело. Она хотела закричать. Но сдержалась. И только слёзы...



Антон ЗЫРЯНОВ (1975 г. р.) — художник. Закончил Иркутское художественное училище (декоративное отделение), ИрГТУ (Восточный факультет, кафедра монументально-декоративной живописи). Член молодежной секции Иркутского отделения Союза художников России. Участник нескольких выставок: Осенней областной выставки Союза художников, конференции «Молодость. Творчество. Современность» и других. Живёт в Иркутске.

— Всю свою жизнь, с самого детства, я что-то рисовал, можно сказать, что несерьёзно, потому что нигде до художественного училища не учился. И тогда увлекался и сейчас увлекаюсь графикой: то есть — минимум цвета, максимум линии. Мне кажется, что в графике себя можно выразить достаточно ясно, без лишних наслоений, которые могут оказаться, грубо говоря, случайными. То, что ты хочешь сделать в данный конкретный момент, то у тебя примерно и получается, материал не даёт каких-то посторонних примесей.

Поначалу мой выбор был неосознанным, оформился он уже в процессе учёбы. Я учился на курсе у Ольги Осипенко и вообще много у кого — так сложились обстоятельства. Я учился у Шипицына, у Элояна, у Казанцева. Потом, после училища, на Восточном факультете у Виталия Смагина.

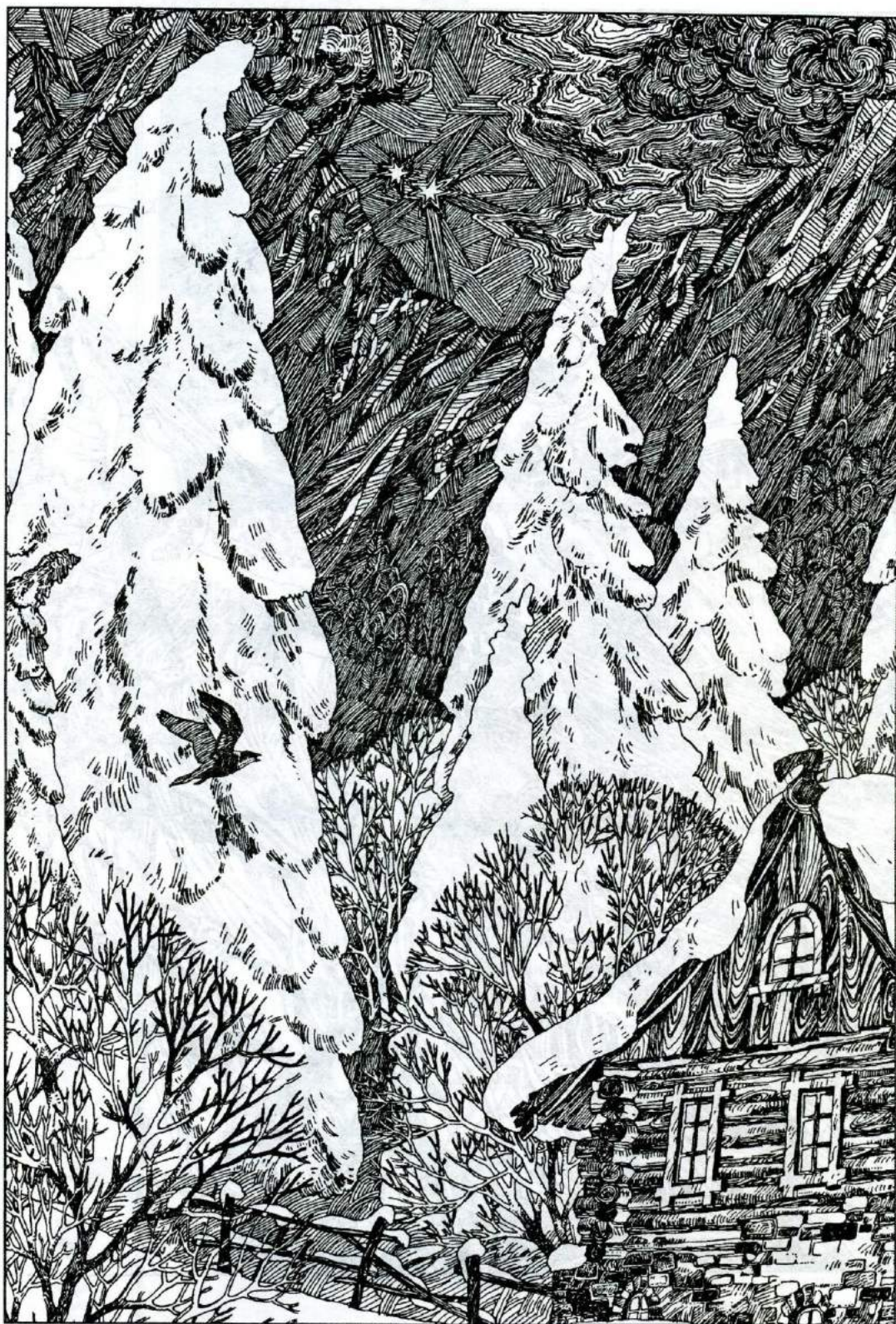
Графика — достаточно узкая специализация. Возможно даже, что в каких-то больших персональных выставках нет необходимости. Есть интересный вариант: делать книжные иллюстрации. Я бы с удовольствием этим занимался, но пока серьёзных заказов найти не удаётся — нет выходов на эту работу. Сейчас зарабатываю полиграфическим дизайном.

В творчестве я ориентируюсь на мастеров периода модерна, ар-нуво: Климта, Бердслея, Гауди. Не стараюсь имитировать их стиль и приемы, а просто пропускаю через себя. Пытаюсь создавать свою — может быть, фантастическую — реальность, а не слепо копировать окружающий мир. То, что я делаю, отражает мое сиюминутное состояние, настроение. Могу ничего не делать неделями, днями, а потом сесть и сделать за три часа какую-то вещь, потому что именно сегодня захотелось.

Я очень люблю ездить на природу, ходить в горы. Зимой в обязательном порядке — лыжи. Отсюда тематика многих работ. Что касается шаманизма, архаичных верований, то это тоже — культ природы, в них отражается мироощущение коренного населения Сибири. Это очень органичные вещи, которые вплетаются в природу, происходят из неё. Мне приходилось этим заниматься, всё это изучать. Я, например, достаточно хорошо представляю, что такое шаманский костюм. Многие наши художники ориентируются на, условно говоря, «сибирскую» тематику. Некоторые сознательно, для создания определённого имиджа, в основном людям просто интересно. Мне интересно.



А. Зырянов. Кругобайкальская железная дорога.



А. Зырянов. Зимовье.



А. Зырянов. Шаман.



ВСЁ ДЕЛО В РАМЕ

ЛЮБОВЬ ШТЕФЮК

Дело было так: мы с моими родителями ужасно страдали в своей квартире от всяческих дуновений ветра и постоянно стряхиваемого на нас соседями разного мусора. Прожив так семь лет, папа сказал: «Надо балкон застеклить». Целыми днями он измерял балкон, пилил досочки, что-то сколачивал. Провозившись таким образом две недели, папа наконец сделал раму, но получилась она какая-то странная: слишком длинная в ширину и короткая в высоту. В общем, наш балкон не подходил под неё, и она так и осталась стоять на балконе, неудобно вылезая своим чрезмерно длинным краем к соседям, на что они в общем-то не жаловались. Рама стала неотъемлемой частью нашей обывательской жизни: бывало, приду из школы, обопрусь о неё удобненько правым (а иногда и левым) локтем и думаю, думаю, обзираю открывающийся с балкона вид. В эти минуты на меня даже снисходило вдохновение, и я декламировала громко, с выражением всякие высказывания о природе. В общем-то соседи не жаловались. Мама развешивала на раме бельё, и оно потрясающе развевалось на ветру флагами различных форм и цветов (прямо у соседей перед носом). На папу рама наводила уны-

Любовь ШТЕФЮК (1985 г. р.) – прозаик, поэт. Учится в школе № 22 города Иркутска. Участник литературного клуба «Премьера» Дворца детского и юношеского творчества. Печатается впервые.

ние и ностальгию, он вспоминал былые времена, как он делал эту самую раму, то и дело он разговаривал с ней, поглаживал по шероховатой поверхности и вопрошал, подняв глаза и руки к небу, почему она такая, ведь он так старался! На что соседи отвечали ему, как голос с небес, что-нибудь утешительное.

Но однажды случилось страшное: рама исчезла. И с этой минуты в квартире всё пошло наперекосяк, всё вдохновение у меня разом пропало, память отшибло, и я уже не могла больше декламировать разные высказывания; маме некуда стало

больше вешать бельё, и бельё с этих пор висело где попало: на стуле, на люстре, на настольных лампах; папа был лишен своей обычной вечерней задумчивости и потому стал очень вспыльчив и раздражителен, что, естественно, отражалось на нас. А кроме всего прочего, всем обитателям нашей квартиры стали мерещиться всякие страшные чудища (ну, конечно, ведь как мы ещё могли объяснить таинственное исчезновение рамы). В общем, всё пошло не так, жизнь наша превратилась в невесть что.

А раму спёрли соседи.

СОЛНЦЕПОТАМ

Замок в заоблачной дали, за огромным океаном, на высоких скалах. До него не добраться, он просто мираж, а люди стремятся и изнывают от неудач — они не могут достичь его! Где же цель? Это было бы слишком просто — знать, где она.

Жил-был Солнцепотам. Кто такой — никто не знал, но имя красивое — соглашались все. Кто не видел его — думал, что это какой-то бегемот. Кто видел — говорил — идиот. И всё потому, что Солнцепотам плакал в темноте; а плакал он оттого, что безумно любил солнце. Когда светило солнце — он был самым счастливым человеком на земле. Солнцепотам ложился на песок и смотрел на него. Он говорил всем, что солнце — его планета. Он просто смотрел на солнце и улыбался. И ничего-то ему не надо было — он был счастлив... И его улыбка была подобна солнцу, в его глазах светило солнце, от него светлее делалось в темноте.

Но не было у Солнцепотама друзей. Все думали, что он сумасшедший. Никто не хотел быть его другом, и от этого так больно было Солнцепотаму, что сердце его просто раскалилось. «Что ж из того, что я люблю солнце? — думал Солнцепотам, — Разве от этого я становлюсь плохим человеком?» Смеялись над ним люди, потому что пла-

кал он в темноте, но никто не хотел знать, что слёзы его оттого, что солнце — его единственный друг. А когда оно уходит далеко-далеко за горы светить другим, он просто остаётся один. Нет того, кого бы мог согреть теплом своего сердца Солнцепотам.

А однажды зима не кончилась. Солнцепотам всё ждал, когда же выйдет солнце. Он так надеялся, что оно согреет наконец-то своего верного друга. Он так надеялся! И всё, всё обещало, что солнце вот-вот выйдет, всё говорило об этом. А Солнцепотам жил, ждал. И вот как-то надежда износилась, превратилась в тряпье и распалась на маленькие-маленькие кусочки. Солнцепотам понял вдруг, что вся она вздор, что солнце не вернётся никогда, что все его обманули и будут продолжать обманывать, и так горько стало Солнцепотаму! И слёзы текли из его глаз. «Зачем они обманывают меня? Я не делал никому ничего плохого, — думал Солнцепотам, — Почему солнце не выходит? Оно предало меня. За что? Неужели я не заслужил и капельки солнечного света?» — обливался слезами Солнцепотам. И так больно, так больно стало ему! И сердце его стало так горячо! А он всё плакал и плакал. А сердцу всё больнее и больнее. И вот сердце не выдержало и превратилось...

в солнце. Всё равно в солнце! Назло всем. Злу назло. Не в камень, нет, никто не смог бы превратить живое сердце Солнцепотама в камень.

И никто не видел больше Солнцепотама. Он улетел в пустоту искать по свету добрых

людей, которым он мог бы светить и радовать их своим теплом. Да, кто знает, нашёл ли он такую планету? Может быть, далеко-далеко в заоблачной дали, за морем-океаном, на высоких скалах.

ВЕРБЛЮД И СУСЛИК

Было это в пустыне. Представьте: песок, солнце. Суслик спал, развалившись на спине и вытянув лапы. Хвост он тоже вытянул, и морду вытянул, ну, в общем, распластался на песке, совсем обленился, лежал и блаженствовал. «О, блаженство!» — думал суслик и больше ничего думать он не мог. Блаженная улыбка, от которой веяло вечностью, расплылась на сусликовом лице. Ему не было дела ни до кого. «Никто мне не нужен» — думал суслик. Действительно, ничего ему не надо было, его мысли разлились в вечности и таяли вместе с ней. Суслик закрыл глаза, но всё же он видел солнце. Солнце и небо, небо и солнце и больше ничего. А вокруг царил суета, а надежды многих рушились, а планы многих возводились упирающимися в небеса громадами; мир шумел и властвовал, плакал и грозил, топот, гам, движение царило в мире. Ну а суслик был философом и не было ему дела до шумного и глупого мира. «Что он по

сравнению с вечностью?!» — думал суслик и развёртывал свои мысленные идеи во вселенной большим и пушистым покрывалом звёзд. И вот, в своих мыслях, уже он был бесстрашен и великодушен, добр как никогда и щедр. Если бы у него была куча денег, он бы сделал всех богатыми. О! Сколько мыслей уже было в сусликовой голове.

Но тут по пустыне проскакал радостный верблюд. Он не заметил суслика и раздавил его. Верблюду и в голову не пришло, что раздавил он целую вечность. У него было хорошее настроение, и это главное — так думал верблюд. Ну а суслик, что ж, суслик был раздавлен своей глупой сусликовой действительностью, счастливым видом дурака-верблюда, которому абсолютно не было дела до вечности, да и вообще — раздавлен физически. И умер философ-суслик ни за что. Кто виноват? — Никто. — Глупо. Суслик был прав.

КОНСТАНТИН МАКСИМОВ**АВИАТОР**

*Идёт без проволочек
И тает ночь, пока
Над спящим миром лётчик
Уходит в облака.*

Б. Пастернак

Над Нью-Йорком снова дым клубится,
Млечный путь ложится на Памир...
Авиатор входит, словно птица,
В бесконечный невесомый мир.

Бородатый астроном из Дели
Смотрит в телескоп куда-то ввысь...
А на Солнце заструился гелий,
Кольца на Юпитере сплелись.

Где-то рядом пролетел Гагарин,
Приземлился Сент-Экзюпери;
Где-то вместе выпивают в баре
Пикассо и Сальвадор Дали.

Молодой писатель из Парижа
На мансарде сочиняет чушь.
Звезды опускаются пониже
Заглянуть в окошки «Мулен Руж».

Шерлок Холмс употребляет опий,
Потрошитель прячется в туман...
Кружатся планеты над Европой
И ныряют в Тихий океан.

Облака пропеллер разрезает,
Крылья распростёрлись над Луной...
Авиатор видит всё и знает,
Наблюдая сверху за Землей.

Смотрит вниз, сверяется по карте,
Отмечает в судовой журнал,
Где БигБены, Сфинксы и Карпаты,
Кремль, аэропорт или вокзал.

Бродят над Землёй седые боги,
Чьи-то души выются в небесах...
Мир живёт, запомнившись надолго,
В зорких авиаторских глазах.

Странная воздушная свобода,
Радостный космический накал...
Каждый день, в любую непогоду
Браться за перо, как за штурвал!

Зима — Иркутск

СВЕТЛАНА БУТКОВСКАЯ

Я и погибнуть не имею права.
О них мне завещали мемуары
Писать едва знакомые поэты.
Так вежливо надеясь, что вот это
(Как будто в жизни чистая страница)
Должно по крайней мере получиться
Гораздо лучше, чем мои стихи.
Я ухожу искать лазурный малахит
Своих поэм, своих простых мелодий,
Своих романов, наконец. Уходят
Так время, осень тропами лесными.
Прощаюсь. Ухожу сегодня с ними.

Всё изменилось. В сумерках веков
Давно померкла власть последней тайны,
И звук твоих задумчивых шагов
Затерян мною был совсем случайно
Среди проспектов северных столиц.
В мой старый стол ложиться стали тише
Случайные наброски чьих-то лиц
И лёгкие следы четверостиший.

Иркутск

ГРИГОРИЙ ШОБОЛОВ

Голубой огромный город
В жёлтом тумане
Вечно спит.
Он покинут.
Циклопические руины —
Проёмы окон, пролёты лестниц,
Обрывающихся внезапно,
Двери, застывшие в пустоте.
Фарфоровая кукла разбитая
Со страхом во взгляде.
Я заблудился в городе
И в себе.
Потерялся в мире,
О котором только и знаю,
Что его кто-то вывернул наизнанку
И бросил.

Я погружён в китайские сны:

Пагоды, храмы и облака на закате.
Люди. Дороги. Твои глаза —
Тёмные медовые камни.
Вряд ли их когда-то увижу...

Богатство растратил,
Крылья утеряны...

Я погружён в китайские сны:

Заперт навечно в пагоде,
Слушаю ветер, играющий
Колокольчиками,
Поднимающий пыль...

Усть-Илимск

МИЛАНА

СНЕГОПАД

С каким изяществом и грацией,
Слегка качаясь, как во сне,
Кусты нестриженных акаций
На лапах держат первый снег.

И молчаливые прохожие
Себя по городу несут.
И друг на друга непохожие
Снежинки тают на носу.

Усть-Илимск

ЮРИЙ КРУГОВ

НЕБЫЛИЦА

Как прекрасно лето — золотом одето.
На ромашке кони — собирают мёд.
Вон, смотри, над розой кенгуру летает,
Кенгуру летает, словно вертолёт.

Рядом папиросы три слона стреляют,
У киоска пиво крокодилы пьют.
Но, конечно, люди их не замечают,
Потому что вечно по делам бегут.

Усть-Илимск

ЕВГЕНИЯ СКАРЕДНЕВА

ЗАЛИВ В РАЙОНЕ УЛИЦЫ ЯКОБИ

Это море у ног — твоё!
Этот пляж и вода — как в Сочи!
...Правда, Сочи здесь только днём,
И типичный Иркутск — ночью.

Только стих ветерок — и вскоре
В берег бьется прибоя силища!..
Правда, это совсем не море,
А простое водохранилище.

И прекрасен там шторм и покой —
Вот его основные козыри:
Там солёный ветер морской,
И вода прекрасная — озера!

Шум волны в бесконечном споре,
Нарастает прибоя силища...
...Для меня тот залив будет морем,
А не просто водохранилищем!

Всё небо затянуло лёгким флёром,
Луна — невеста в розовом венце.
Сегодня я — и Моцарт, и Сальери,
И зло, и гений я в одном лице.
Иль жизнь, иль смерть — сегодня я решаю.
И кто поймёт судьбу сейчас мою?
Одной рукой я яд в стакан мешаю,
Другой рукой беру стакан и пью.

Иркутск

ВЕРА ГУЛЬЕВА

Электрические сферы —
Что стократная луна.
Брезжит светом в атмосферу,
Ярко, матово полна.

Повторяясь многократно,
Равнодушна и резка,
Смотрит в тёмное пространство
На смешного чудака.

Он стоит вдали от света,
Одинокий и чужой,
Смотрит в небо, между тучек
Ищет серп луны живой.

Иркутск

АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВА

Ты знаешь, мой сказочный гений,
Как плохо бывает без света;
В бесчисленных кипах творений
Не отыскать мне ответа.
Не видишь ты, взявшись за ворот,
С большими, как небо, глазами,
Что ветер твой ласковый город
Умоет моими слезами!
А к утру на мокром асфальте
Проступят следы огорчений,
И слёз моих чистых брильянты,
И строки из стихотворений.

Железногорск — Братск



«ИРКУТСКИЕ ВЕЧЕРА» — 85 ЛЕТ СПУСТЯ

Не секрет, что различные литературные течения и группы организуются, как правило, людьми молодыми. Вспомним акмеизм, футуризм, имажинизм в момент их зарождения. И неудивительно — ведь группой входить в литературу легче, это уже потом становится ясно, кто чего стоит: Хлебников и Маяковский переходят в разряд классиков, а Крученых и Бурлюк интересны только историкам литературы, все читали Ахматову, Гумилёва и Мандельштама, но почти никто — Зенкевича и Нарбута и т. д.

Кроме всего прочего, молодость располагает к декларациям, к написанию всяческих манифестов, к эпатажу. Начало века каких только литературных групп ни предлагало публике! Тут и ничевоки, и биокосмисты, «Кузница», «Центрифуга». Сия особенность не миновала и Иркутск: у нас были ИЛХО (Иркутское литературно-художественное объединение), а ещё раньше «Барка поэтов».

И всё это в 20-е. Поэтов ИЛХО — Уткина, Алтаузена, Молчанова-Сибирского широко печатали в советское время, они даже считались классиками, стихи поэтов «Барки» впервые собраны и опубликованы в прошлом, 2000-м году (один коллективный сборник — 11 авторов, плюс, отдель-

ной книжкой, Андрей Шостакович). Кроме того, чуть раньше увидели свет «самостоятельные» сборники «барочников» Нины Хабиас и Игоря Славнина.

ИЛХО — это так называемая «комсомольская» поэзия, «Барка» — эстеты, модернисты, отражённый свет все тех же акмеизма, имажинизма, эго- и просто футуризма. Все желающие теперь, слава Богу, могут обратиться к книгам. Принять или не принять, сравнить ценность ИЛХОВцев и «Барки» — на весах истории они теперь равны — и перевозимые когда-то, и замалчиваемые.

С предшественниками сложнее. Ещё в 1916 году свет увидел альманах «Иркутские вечера». Его авторы Константин Журавский, Надежда Камова, Лев Повицкий, Владимир Пруссак и Варвара Статьева снабдили книжку следующим преуведомлением:

«В стране непробуждённых просторов и злых морозных туманов, где искусство живёт вчерашним днём, где поэзия кажется тихой заводью, пугающейся свежего ветра, мы, немногие, случайно спянные временем и местом, дерзаем вступить на путь действенного и гласного творчества.»

Не примыкая ни к одной из существующих групп в поэзии, не замыкаясь в свою собственную, мы предоставляем каждому из нас выявлять себя в избранных им образах и мотивах. Общее между нами — наша любовь к поэзии и вертерпимость.»

Наш альманах — стихи, которые каждый из нас считает для себя наиболее характерными в данное время.»

Мы рады будем, если к нашим голосам присоединятся новые.»

Мы ждём их.

Иркутск, июнь, 1916».

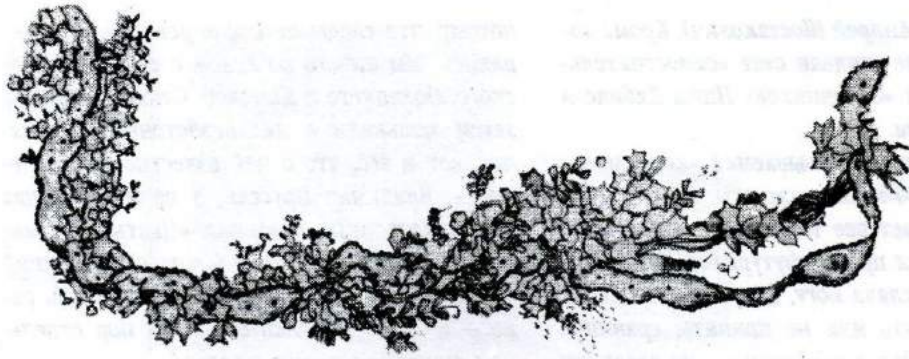
Заявка, как видим, довольно сдержанная. Никакой это не манифест, и вряд ли авторы альманаха могли предположить, что в историю литературы они войдут группой. А всё

потому, что следы их после революции потерялись. Мы ничего не знаем о судьбе Журавского, Повицкого и Камовой. Стихи Статьевой затем мелькали в дальневосточных журналах, вот и всё, что о ней известно. Исключение — Владимир Пруссак, в наличии — два его стихотворных сборника «Цветы на свалке» и уже вполне зрелый и многообещающий «Деревянный крест». Пруссак умер очень рано — в 23 года. Стихи его с тех пор отдельной книгой не переиздавались.

По предположению филологов, по крайней мере часть участников «Иркутских вечеров» — политссылные. Косвенно указывают на это, например, революционные мотивы, преобладающие в стихах Льва Повицкого. Политссылным был и самый крупный, пожалуй, иркутский поэт начала века — Дмитрий Глушков (Олерон) — автор замечательных сонетов и переводов из Эредиа. Соединение приёмов письма, отточенных на традиционных темах французов-«парнасцев» (античность, драмы истории, разнообразная географическая экзотика) дало очень интересный эффект в приложении к «сибирским» реалиям. По тому же пути пошёл и Пруссак, быстро избавившись от влияния эго-футуризма, ошутимого в его первой, неудачной книжке, вышедшей ещё в Петербурге.

В высочайшей поэтической культуре авторов «Иркутских вечеров» вы можете убедиться сами. Это самая серьёзная и представительная их публикация, едва ли не первая спустя 85 лет. Думаю, на вас произведут впечатление равно велеречивость Константина Журавского, естественность и акмеистическая точность загадочной Надежды Камовой, мрачная социальность Льва Повицкого, созидательный пафос Пруссак и изощрённая образность Статьевой. Эти стихи заслуживают того, чтобы быть извлечёнными из забвения.

В. Н.



КОНСТАНТИН ЖУРАВСКИЙ

ОСАННА ЖИВУЩЕГО

I.

Я встречаю тебя в каждой тусклой незначущей встрече:
Фабрикантом, студентом, чиновником, нищим, певцом.
Ты стоишь предо мной, окрыляя восторг человеческий,
Разноликий с единым лицом.

Сквозь глухие века, сквозь гробницы, пожары и бури,
Неизменно велик, повторяешься в вечности ты!
Мудрецы изучают тебя, и смиренно поют трубадуры,
И невесты бросают цветы.

О тебе говорят многотомные, пыльные книги,
Плещут гимны тебе с пожелтевших и мудрых страниц, —
Что же я принесу, загораясь в молитвенном миге?
Что сложу пред тобою, восторженно падая ниц?

Разве всё, что в цветущем мире
Зажигает орлиный взор, —
Не победные песни клира?
И не зов в голубой простор?
Разве трубы не ладан дымный
Стелят в лоно твоей земли?
Разве уличный шум — не гимны?
И не жертвенный свет вдали?
Разве там, по далёким селам,
Где молитвенен час жнивья,
По колосьям ржаным, тяжёлым
Не колышется песнь твоя?
Разве сам ты сплетенья лавров
Не возносишь в своей судьбе?
Разве в сердце — не звон литавров,
И не флейты поют в тебе?
Разве нервы твои — не струны?
Разве в мышцах поэмы нет?
Разве сам ты, седой иль юный,
Не горишь, как вечерний свет?

Ты один, ты один из себя самого расходящимся светом
Озаряешь весь мир, как единую келью свою!
Я — безвестный певец, неизменный бездельник, рождённый поэтом,
И тебе я, как солнцу, пою!

Я заставлю свой мозг разгореться костром негасимым!
Я из сердца весь трепет возможного взлёта возьму,
Чтобы песню создать, как молитву, тебе, мой любимый,
И себе самому!

II.

На земле не погасли слова
— Эта радость до боли близка мне!
Оживают холодные камни,
И возносится к солнцу трава!
Слова — зарницы,
Что строят храмы в розовом тумане.
Цветные птицы,
Порой напуганные сумерками лжи.
Слова смеются,
Слова прядут танцующие ткани,
Но вот — зажгутся
И ускользают, как проворные ужи.

Какая радость острым словом
Измерить свет и благодать,
И песнь песней в блеске новом
Себе подобному создать!

И если жизнь его хвалебна,
И если мозг сжигает тьму,
— Слова экстаза,
Слова молебна
Должны быть брошены ему!

III.

Хирург, вскрывающий синеющие трупы,
Спокойно режущий холодные тела,
Над грудью мертвого с пыливой лупой
Согнулся у стола.

— Хирург, вскрывающий синеющие трупы
И что-то ищущий в запёкшейся крови,
Открой глаза, горящие так скупо,
И медленный обряд останови!

— Там, с левой стороны, доверен крепким рёбрам,
Знакомый и простой покоится сосуд.
Трепещущий, он был в огне вседневных пут,
Быть может, — злым, быть может, — добрым,

Но день угас, замкнулась синева,
И птица алая мертва.

— Пой песни ей! Безжизненный комок
Благослови своим, живущим и крылатым!
Пусть незнакомы дни и путь его далёк,
— Владелец был и будет братом!

Ждущему серое тленье
После борьбы неустанной,
Гордому в мудром биенье,
Сердцу восторг и осанна!
Сердце, — багряная птица
В трепете скорби и песен!
Сумрак горячей темницы
Сердцу был душен и тесен.
Сердце летело на волю,
Знало восторги полёта;
В счастье сжималось от боли,
В боли любило кого-то!
Часто влюблённое знало
Пьяную радость паденья!
Тихие свечи начала!
Шумный огонь завершения!
Часто в бездушной пустыне
Скорбью и гневом горело!
Всё это знает безмолвное ныне
Мёртвое тело.

— Хирург, вскрывающий синее трупы,
Пролей из сердца стынущую кровь
И с мудрой радостью, без близорукой лупы
Умершее живущим славословь!

IV.

Сосцами чёрных труб взнесённые громады.
Знакомый острый гул земного бытия.
И свету солнца рада и не рада
Стеклянных глаз слепая чешуя.

— О вас всегда звенели злые строфы,
Тяжёлые седые города!
Вы возносили мысль, как жертву, на Голгофу
И распинали там всегда.

Но вот в туман безрадостных испарин,
В безумный гул, в огни вечерней тьмы
Вплетается Уитмэн и Верхарен,
И хлещут злую мысль победные псалмы!

И кажется: в дыму, у топок негасимых,
В дрожани проводов, в гудении машин
Всегда расчётливый, всё знающий, незримый
Присутствует один.

Стучат станки, шумят водопроводы,
И день разорван криками гудка.
И тихо правит всем в размерности хода
Мозолистая, крепкая рука.

V.
Длинный клюв глубокого колодца;
Тишина торжественного дня;
Домовьё нахохлилось и жмётся
В паутину серого плетня.

А за ними, где в колёсном визге
Скрыта радость зреющих хлебов,
Кто-то, вдруг, по золоту разбрызгал
Голубые капли васильков.

Поле, поле! Ветер по равнинам!
Светлый праздник русой красоты!
Кто вскормил в упрямстве муравьином
Ваши дали, склоны и хребты?

Кто, незримый, от любви и веры
Тяжкий труд в поля свои принёс,
И ногами крепкими измерил
Вслед за плугом борозды полос?

— Он идёт под шёпот многодумный
На закате розовой зари,
И гудят молитвенные гумна,
И в колосьях слышны тропари.

Он идёт, упрямый, неизменный,
Властелин, во образе раба,
И рукой, взнесённой над вселенной,
Осеняет кроткие хлеба.

И когда на розовом закате
Догорят последние лучи,
Белый саван мудрого охватит
В трепетанье плачущей свечи.

И тогда в синее тумане
Тихий тлен земного бытия
В край, где нет ни слез, ни воздыханий,
Унесёт сосновая ладья.

VI.

Я чувствую тебя в обычной смене дней
И чувствую твои сплетенья и извины,
Когда в глухих сетях в несменности своей
Свершаются приливы и отливы.

Мой мозг, мой серый мозг, бесценный и земной,
Бездумный в радости, трепещущий от гнёта!
Мерцающий в глазах разумной глубиной
И голубым огнём далёкого полёта.

Мой мозг! Не ты ли цвёл в вечерней тишине
От тёплых женских рук, от пьяного безумья?
Не ты ли проводил со мной наедине
Бесстрастные часы холодного раздумья?

В божественных центрах, в сиянье узлов
Раздумье свивало вечерние гнёзда,
Рождались узоры нечаянных слов,
И мысли, — как звёзды!

И в злые туманы, в содружество стен,
В густые тенёта стальной паутины
Вливались восторги артерий и вен,
И клёкот звенел соколиный!

Мой мозг, мой добрый мозг, любимый и земной,
Всегда стремительный, всегда не знавший лести,
— Гори! Не изменяй. Пребудь всегда со мной.
Потухнем — вместе!

VII.

Зачатый в радости влюбленного отца
Я в муках матери был стонами разбужен.
И вот — живу. И вот кому-то нужен,
И путь мой брошен в дали без конца.

Отец и мать! Влюблённость и страданье!
Восторги мудрого и ласка тёплых глаз!
Зачатый в радости, я взял тогда у вас
Всю тайну звезд, все сказки мирозданья.

И вот — живу. Приходят злые дни
И говорят, — «доверься черной мысли»,
Но разум твёрд, и прошлое исчислив,
Иду вперёд на светлые огни.

Дымится золотом широкая дорога
— Гордись, отец! — тобою сын велик.
Будь светлой, мать! — ты повторяешь лик
Единого, смеющегося бога.



НАДЕЖДА КАМОВА

Летит моя карета,
Бегут назад столбы;
Я мантией поэта
Задёрнусь от судьбы.

Не то метель, пугая,
Концом веретена
Соткёт для сердца, злая,
На саван полотна.

Летит моя карета,
Бегут назад столбы;
Я мантией поэта
Задёрнусь от судьбы.

ГОРОД ЗИМОЙ

Струны телеграфа белой канителью
Вышили узоры в сероватой дали,
И деревья в шубках, скроенных метелью,
По аллеям сквера ряжеными встали.

Тополя подстриглись, сбросили мундиры,
Чтоб весной одеться лучше, новомодней.
На дороге белой воробьи-задиры
Подрались за крошку шерсти прошлогодней.

Кучера на козлах хлопают руками,
Рысаки от стужи не стоят на месте;
Солнце красным шаром гаснет за домами,
И Луна с Венерой оживают вместе.

Ночь щекочет, как русалка,
Зной нечистый тело жжёт,
Черноглазая Наталка
Вышла в поле, где намёт.

Широко прошёлся лугом
Легковейный ветерок
И в объятии упругом
Сдёрнул девичий платок.

Кто-то крикнул перепёлкой,
Далеко пролаял пёс,
И затряс своей метёлкой
Потревоженный овёс.

МАРИОНЕТКИ

Он думал, что мы марионетки,
И глядел на нас, смеясь.
Мы обе почти брюнетки
И обе втоптаны в грязь.

Мы обе ему говорили
Короткое скользкое «ты»,
Как будто совсем забыли,
Что «чувства должны быть святы».

Держались так неумело,
Но у каждой рассудок знал,
Что он оба девичьих тела
Той же рукою ласкал.

Мы были его марионетки;
Он дёргал за души нас,
Но сам был белей салфетки
От четырёх укоряющих глаз.

ФИНАЛ

У него будет ребёнок,
Такой пискливый и маленький,
И будет запах пелёнок
В когда-то душистой спаленке.

В уголке на нашем диване,
Где мы изучали Гойю,
Будет толстая няня
Качать колыбель ногою.

И меня свободную, гибкую,
Не отдавшую ему тела,

Он вспомнит с кривой улыбкою
И вздохнёт: «Рутиня заела».

И сравнит двух девушек тонких,
Обеих любимых когда-то:
Одну, подарившую ребёнка,
Другую, ушедшую без возврата.

ЖАЛОБА

Мне гадко, гадко, гадко:
Жизнь, как стёртая монета,
А на лбу печальная складка,
Несмотря на семнадцатое лето.

И я краснею, мне больно
От мучительно-горького стыда;
Неужели мне лгать не довольно,
Лгать и лгать всегда?

Быть может, поймут скорее
Жалобу этих страниц.
В душе такая галерея
Лицемерно смеющихся лиц!

В угаре ночных ресторанов,
Украдкой, под звуки оркестра,
Я плачу о милом, что рано
Оставил печальной невестой.
Купила из белого гипса
Слонёнка за тридцать копеек,
Как будто накидка из рипса
От этого станет новее.
Как будто, гадая на святках,
Увижу в обломке зеркальном
Волос золотистые прядки
И губы в улыбке печальной.

ЭСКИЗ ЗАКАТНЫЙ

На подкладке светлого пурпура
Был нашит чернеющий собор,
И река казалась белокурой
От тумана меж лиловых гор.

Над крестами звёздочку заката
Юный месяц заключил в рога,
И заря, закованная в золото,
С красным флагом вышла на врага.

В ХРАМЕ

Там, где огня неугасимого
Мерцанье будит мрамор лиц,
Люблю пред образом Гонимого
Благоговейно падать ниц.
У входа там стоит просительно,
Неся годов седую пыль,
И шепчет: «Именем Спасителя»
Старик, склоняясь на костыль.
Вхожу по коврику бордовому,
В глазах огнистые мазки,
И каждый раз дрожит по-новому
Святое знаменье руки.
И трепет сладкий разливается,
Слезой взгляд тумана мой,
Когда впервые загорается
Свеча с полоской золотой.
И замерев в святом молчании,
Не смея влажных глаз закрыть,
Гляжу, как пламени сияние
Ко мне притягивает нить.
Внезапно вспыхнувшей лампадою
Лицо Его озарено,
И мне, мне кажется отрадою
Следить, как ожило Оно!

САЛОМЕЯ

(Сонет)

Оранжевый опал повис над Иудеей
И шлёт прозрачный луч, как дерзкого гонца,
Искать средь анфилад уснувшего дворца
Покои душные мятежной Саломеи.

Повергла страсть её. На плитах изразца,
Нагая, на полу, как тёмная камея,
Свивается змеёй, бесплодно пламенея,
А на щеках горят два красные рубца.

И жадно жмёт уста к устам Иоканаана;
Ещё кровоточит дымящаяся рана
И кровью пачкает округлости груди.

Не видя на губах налёт багрово-синий,
Вбирает хищным ртом суровый очерк линий,
И злые перстни рвут волну его кудрей.



ЛЕВ ПОВИЦКИЙ

ЦЕНТРАЛ

Тут путнику привал. Надолго. Навсегда.
Не отдых, не покой. Но мёртвая теснина.
Ворота замкнуты, и надпись «никогда»
Читает чахлая окрестная равнина.

Пахучей сыростью, зловонной кислотой
Ограды старые назойливо объяты.
Моргает тусклый день, встречаясь с темнотой,
И бродят парами бесцветные бушлаты.

Одежда ветхая, прогнившая насквозь,
Таит в себе следы мужского униженья,
И смотрят люди вниз, и смотрят люди врозь,
Сжимая яростно ползучие мгновенья.

Шаги заглушены. Тут ходят без сапог.
Мелькают серые. Как тени — торопливо.
Лишь изредка зовет свисток ночных тревог,
Да чей-то тонкий вопль застынет сиротливо.

Во сне и наяву, в работу и в покой,
Витают над душой, как знамя, кнутовище.
Отсюда тянется широкой полосой
Одна дорога — на кладбище.

ЗАБАСТОВКА

Запираются лавки. На двери, на окна
Кладутся засовы тяжёлые.
Глядят с изумлением вывески голые.
Одиноко поплыли, качаясь, пушинки-волокна.

Вновь проходят рабочие. Чёрные льдины
Несутся, несутся — и тают потоками.
Слова засверкали цветными намёками,
Выпрямляются спины.

На углу, у стены, стали все пешеходы:
Читают бумажку какую-то белую.
Здесь толпами слушают девушку смелую.
Прогремели подводы.

С переулка ворвался звон пианино.
Там кто-то играет призывную, жгучую,
Стальную и нежно-певучую, неодолимо-могучую
Марсельезу. «Ещё и ещё, молодчина!»

Потянулись с вокзала толпою беспечной
Железнодорожники.
Чтоб видеть их — лезут мальчишки на тумбы-подножники
И смеются беспечно.

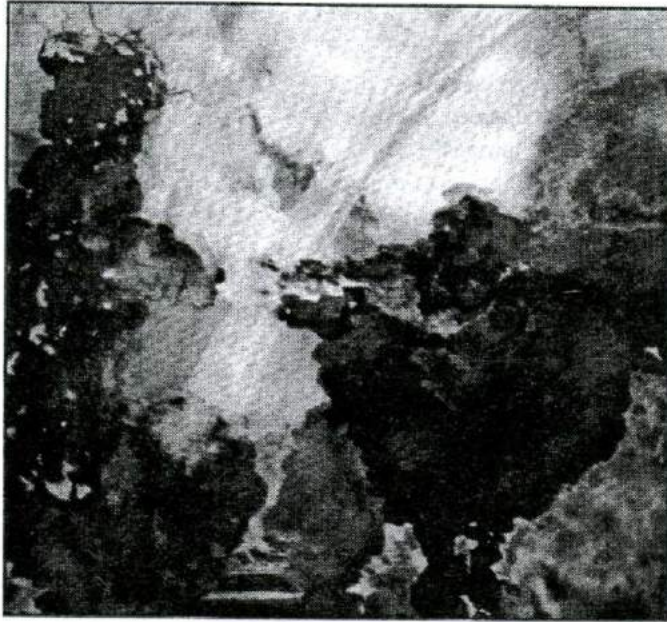
Запестрело неожиданно повсюду студентами,
Спускаются с горки весёлыми массаами.
Хозяйки спешат за съестными припасами,
Приделались девушки яркими лентами.

На балконы, на окна стекаются дети —
Глядят любопытно — широкими глазками,
Им улицы кажутся странными сказками
А улицы зыблются, ловят, как сети.

А в улицах новое что-то творится.
Куда-то поспешно уходят прохожие,
Другие приходят — на тех непохожие
За углом кто-то смотрит, таится.

Застыли безмолвно дома, тротуары,
И люди замолкли в ревнивом вниманье,
Стоят, караулят у крайнего зданья
Загремели неистово, гулко удары!

Все ринулись разом — для драки!
Выстрелы, залп, стук копыт,
Крик, плач, грохот плит.
Казаки!



ВЛАДИМИР ПРУССАК

СИБИРЬ

(Сонет)

Покоится зловещая тайга
В объятиях морозного тумана.
Свистит и скачет злобная пурга.
Сторожат золото в глуши урмана

Ревнивые речные берега.
И вторит крику дикого шамана,
Во льдах родившись, мстительно-строга,
Размеренная песня Океана.

Здесь символ чести — скованные руки.
И города зевают в алчной скуке,
И жизнь обвилось узкое кольцо.

Но вдруг мелькнёт, неведомо откуда,
Раскосый взгляд насмешливого Будды
И жёлтое скуластое лицо.

СТРАСТЬ

(Сонет)

В тяжёлой тьме, нависшей над альковом,
В усталости разъединённых тел,
Поставившей желанию предел,
В смятении, неизъяснимом словом,

Я чувствую, властителен и смел,
Что, весь в огне, хочу желаньем новым —
И снова отдаюсь блаженным ковам.
Слепорожденный, в ласках я прозрел.

Но замираю в упоённой лени:
Восторженный порыв утихнул и угас.
Целую обнажённые колени,

Ловлю мерцание усталых глаз
И вижу небо в звёздном облаченье,
Где ангелы ликуют о свершенье.

КУТЕЖ

(Сонет)

Угрюмо пьют вино. Трусливы и грубы.
В шелку и шеншелях шикарные коготки.
Сигарный дым свился в душистые клубы,
Бриллианты свет струят, разнузданный и четкий.

Колышет жирный смех двойные подбородки.
Гул покаяний, клятв и смрадной похвальбы.
И похоть, хохоча, рукой сжимает лбы,
Прокравшись в кабинет скользящею походкой.

Зажгла тупым огнем бессильных стариков,
И с пьяными следя истомный стон смычков,
Блестя глазами, вышла на ловитву.

И всё слышней, слышней по гулкой мостовой
Тяжёлые шаги солдат, идущих в битву,
И псов встревоженных недоумённый вой.

УЗКИЕ ВРАТА

I.
Сарматы смачивали стрелы
В крови клокочущей своей,
Чтобы, заклые, верней
Разили вражеское тело.

Порывы творчества бесцельны:
Искусством песню не зови,
Пока не смочена в крови
Души, пораненной смертельно.

Я сам, уверенным ударом,
Поранил крепнущую грудь,
И вот — запел и вышел в путь
Навстречу неотвратным карам.

Подобье верного стилета,
Сверкает стих, как бы стальной,
Какою страшною ценой
Я отыскал в себе поэта!

II.

Ясность в душе пустынной; радостно мне и странно;
Стало вокруг светло.
Шумные битвы были, были глухие раны,
Было и всё прошло.

Не за что мне сражаться, некому мне молиться,
Трудный свершён обет,
Холодно мне и странно; ясно в моей светлице;
Бледный мерцает свет.

Радость поёт и плещет, мощным ликует хором;
Властен в руке резец;
Многие вижу тайны, острым впиваясь взором;
Пламенной лжи творец.

Отдал я жизнь искусству, отдал — и стал свободным,
Горных достиг вершин.
Любям бросаю пламя, сам остаюсь холодным,
Тихо грущу один.

III.

Пианино. Канарейки. Фикус.
На окне — дешёвая герань.
Даже здесь возможен строгий искус
И упорная, недремлющая брань.
Будь один. Испытай повсюду,
Проходи сквозь Узкие Врата.
В мезонине совершится чудо,
В строчках блекнущих проснётся красота.

IV.

Если ты хочешь создать гармонично-звучащие ритмы,
Новые песни найти;
Если ты хочешь людей увлекать полнопевною речью;
Хочешь учить красотой, —

Быстробегущие дни непрестанно, упорно работай,
Старых певцов изучай,
Каждую форму стиха терпеливою мыслью исследуй,
Трудные строки чекань,

Чтобы таинственный час вдохновенья и смутных порывов
Слабым тебя не застал,
Чтобы ты смело запел, выливая в готовые формы
Полные силой слова.

V.

Темнеет. Тишина. Давно закрыты двери.
Обычные мечты свершают точный круг.
Я вижу кабинет пытливого Сальери,
Дерзнувшего разъять, исчислить лёгкий звук,
Направить, обуздать, усилить в нужной мере
Порывы творческих неизречённых мук.
Расчётом сжатые, взволнованно и гордо,
Вздываются волной свободные аккорды.

Ещё любимый лик. Упорный соглядатай
Несознанных чудес, творимых на земле,
Искавший каждый день — везде, в печали брата,
В улыбке женских уст и предвечерней мгле
Сплетений красочных. Принявший все утраты,
Равно презрительный к восторгу и хуле,
Пророчества и страх и лепет беззаботный
Да Винчи вбрасывал в бессмертные полотна.

И если ты придёшь, неведомый избранник,
Ваятель вещих слов, свершитель и пророк,
Не жрец увенчанный, но исступлённый странник,
Отверженный толпы, один, спокойно строг,
Не вспышек и мечты, — труда покорный данник,
Ты в песнях изъяснишь значенье слов и строк;
И нежность, и тоску пылающего слова
Разъяв, разъединив, в созвучьях свяжешь снова.

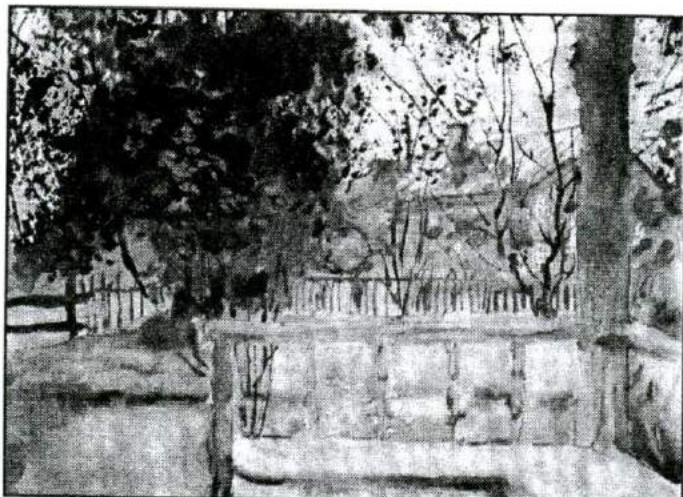
VI.

(Сонет)

Когда потухнет бледный мой ночник,
И смерть, вздремнув, прикиннет к изголовью,
В мечтах последних светлый женский лик
Не улыбнётся нежною любовью;

Отец духовный, ласковый старик
Не повторит докучных суесловий,
Один, один. И буду в грозный миг
Ещё бесстрастнее, ещё суровой.

Тогда учителей предстанет клир —
Зовут к себе, на сладостный Маир,
И вняты мне призывы и укоры
Хранителей желанного огня.
Иду! И встретят робкого меня
Спокойные торжественные хоры.



ВАРВАРА СТАТЬЕВА

НОЧНЫЕ ОГНИ

Ходит ночь по городу движеньями танго,
С холодными губами опытной кокотки.

На чёрных косах у блудницы нити фонарей;
Мигающие луны, пламенные очи.

Синие, зелёные, жестокие лучи!
Губительны, как стрелы с едкой отравой.

Я хожу по улицам, я ищу его,
Вглядываюсь в лица и слежу походки.

Я не знаю, где он между злых огней,
С кем следит за танцем этой пьяной ночи.

С ним зажечь бы пламя тёплое свечи;
С ним уйти от ночи тёмной и лукавой.

В ХРАМЕ

I.
Снова та же церковь. Сквозь низенькие дверцы
Заглядывает пламя в голубую ночь.
Господи, как странно! Что же это в сердце?
Господи, прими вернувшуюся дочь!

Свечи истекают обильными слезами,
Вымаливая людям «милость о грехах».
Тот же Распятый с кроткими глазами,
Та же укоризна в ликах на стенах.

Что я здесь оставила? Слёзы о любимом,
Молитву «осени мя благостью своей»,
Просьбы: не покинь в труде неутомимом,
Выведи с лукавых, с глохнущих путей.

Много лет угасло. В извилинах сомнений
Невидимой рукою задушена любовь:
Больно! Нет, не встану кротко на колени.
Прежними слезами не заплачу вновь.

II.
Я снова здесь. Ряды лампад
На тех же ленточках с цветами;
Завеса прежняя у царских врат,
На плащанице шёлк с квадратными крестами.

Как прежде, святость в алтаре
И коврик с каплями из воска;
И в трепете свечей на ораре
У дьякона горит парчовая полоска.

Опять седая голова
Склоняется за взмахами кадила.
Знакомые Евангелья слова
И та же сила в них, невянущая сила!

КРЕСТНЫЙ ХОД

Толпа и поле. Толпа и небо.
И душный запах созревшей ржи.
И сытный запах краюшки хлеба,
Что ест девчонка, присев у межи.

А мимо — серы, с горячим потом,
С горбами сумок, они, в грехах,
Несут Царицу, и над киотом
Взлетают ленты на пыльных волнах.

Плывёт икона над полем хлебным,
Не слыша вздохов засохших уст.
Смолкает говор, стихи молебна
Крестясь, старуха твердит наизусть.

Мелькают руки, и дышат груди,
И вспухли жилы склонённых шей;
Под жарким солнцем, с мольбой о чуде,
Несут подставки семи фонарей.

НА РОДИНЕ

Рассвет сгоняет сон с росистого овса,
Но зёрна крупные склоняются в дремоте.
В слезинках розовой гречихи полоса
И море шумной ржи в сквозящей позолоте.

С улыбкой слушаю ворчливый скрип колёс,
Качаясь в колеях глубоких чернозёма,
Рвёт встречные цветы ныряющая ось.
И хочется скорей знакомого приёма.

Не видя, вижу двор. Над тусклой лебедой
Склонившийся плетень, лиловый хворост в груди,
Вот сени, горница, иконы чередой
И раки красные на деревянном блюде.

У ЛЕСНЫХ ОЗЁР

Зелёные озёра в зелёном царстве хвой.
Навесы гордых сосен. Полдневный сонный зной.

Глубокие воронки с кольцом воды на дне;
Там ели наклонились в истомном полусне.

Там мох зелёный ярк и будто кем-то взрыт:
На нём следы чернеют невиданных копыт.

Мохнатый леший знает: когда погаснет день,
Начнёт по соснам ползать изменчивая тень.

Он сядет в можжевельник, дыханье затаив;
Скривится рот багровый, бессильно похотлив.

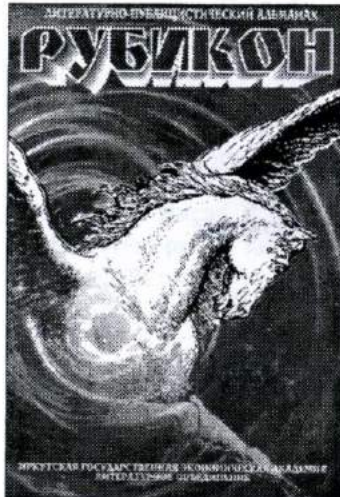
А в сумрачном слиянье, под желтою луной
Зелёными струями заплещет водяной.

Взметнёт покровы тины и муть стоячих вод;
Тоскующих русалок он кликнет в хоровод.

Дразнящими руками замечут изумруд
И воды всех воронок в одну переведут.

Утихнет плеск шумливый, лишь утро зацветёт,
И леший к водоёму с опаской подойдёт.

Сквозь солнечную воду увидеть елей ряд,
Цветы и мох зелёный и чей-то гордый взгляд.



Иркутская государственная экономическая академия – один из крупнейших вузов нашего города. В ней обучаются будущие экономисты, юристы, психологи, специалисты в области менеджмента, маркетинга, предпринимательской деятельности. И задача академии состоит в том, чтобы они стали не только профессионалами в своей области, но и широко образованными, интеллигентными, творческими людьми, хорошо ориентирующимися в вопросах литературы, искусства, культуры. Поэтому совсем не случайно в Академии в 1999 году было создано Литературное объединение. Среди его участников – студенты и аспиранты самых разных факультетов.

Литературное объединение организует встречи с иркутскими писателями и критиками, литературную учёбу молодых авторов и прозаиков, проводит литературно-музыкальные вечера.

Одно из направлений работы ЛИТО – издание альманаха «Рубикон», который объединил людей пишущих – опытных и только пробующих свои силы на литературном поприще. В «Рубиконе» несколько рубрик (поэзия, проза, публицистика). Уже есть круг постоянных авторов: Сергей Данилов, Александр Новиков, Милена Беникова, Михаил Филин, Иван Махнырь. И хотя авторами публикаций являются студенты различных факультетов академии и других вузов, душой альманаха остаются студенты-журналисты, ведь именно они взяли на себя инициативу самостоятельно редактировать и готовить к печати «Рубикон».

Приобретая свой первый журналистский и издательский опыт, ребята действительно переходят Рубикон, за которым начинается серьёзная профессиональная работа.

Члены ЛИТО, сотрудники редакции межвузовского альманаха сердечно благодарят редакционную коллегию журнала «Первоцвет» за уникальную возможность выступить на его страницах авторам «Рубикона». Для всех нас это большая честь.

Мы сердечно поздравляем «Первоцвет» с выходом 10-го, юбилейного, номера и желаем ему творческой дороги в XXI век.

Руководитель ЛИТО в ИГЭА,
кандидат филологических наук Ирина Сацюк

ЕЛЕНА МАЛЫШЕВА

ЭКЗАМЕН

– Бац!

Доска переломилась на две части.

– Триск!

Ещё одна. Сегодня у нас экзамен по каратэ. Я стою и волнуюсь, в животе неприятное ощущение, как будто пустота. В каратэ привела меня мама. А началось всё со школы, вернее, с Пашки Бочкина. Но объясню всё по порядку. В этом году я пошёл в школу. В первый раз в первый класс. До этого я сидел с мамой дома, золотое было времечко. Мама водила меня на хор: я очень люблю петь. А ещё я люблю рисовать и читать. Кстати, читать я сам научился, по старому букварю. И перечитал все детские книги, какие были у нас дома, а некоторые даже по несколько раз. Я больше всего сказки люблю читать. Но хватит о книгах.

Я когда в школу пришёл, мне там сразу не понравилось. Все галдят, орут, куда-то бегут. У старшеклассников рожи, как у бандитов. Я маме говорю:

– Мамочка, не отдавай меня сюда, пожалуйста. Я за это тебя всегда слушаться буду.

А мама будто не видит, какая эта школа ужасная. Говорит:

– Глупенький, тебе здесь понравится, вот увидишь. Заведёшь здесь друзей, узнаешь много нового.

Ха, друзей. Где она, интересно, здесь друзей увидела? Взрослые ничего не понимают. И мама, хотя я её очень люблю, такая же.

Как я и предполагал, с первых же дней начались неприятности. На перемене ко мне подошёл Пашка Бочкин с нашего класса и сказал:

– Спорим, что ты баба и лох! И я сейчас тебя тресну!

И действительно треснул. Пашка огромный, но дурной. Урока высидеть не может. Его учительница на каждом уроке в угол ставит. Ударил он меня не больно, просто толкнул, но я всё равно растерялся. Со мной раньше никто так не обращался. И мне так плохо стало, так захотелось домой, к маме. Я не выдержал и заплакал. А Пашка будто только этого и ждал. Он закричал:

– Фу, рёва! Девчонка, рёва!

И все другие мальчишки подбежали и тоже стали кричать:

– Позор! Рёва! Девчонка!

И другие обидные слова.

А учительница наша слышала, но ничего им не сказала. Наоборот, она мне стала выговаривать, что я уже большой и мне реветь стыдно, что если бьют, то надо сдачи дать. Будто я без неё не знаю. Но Пашка меня на голову выше и в два раза толще. Как я ему дам сдачи?

Я кое-как досидел до конца занятий и бегом побежал домой. Дома я тут же всё рассказал маме и папе. Мама стала меня утешать, а папа рассердился:

– Тряпка! Сдачи дать не мог! Правильно тебя девчонкой назвали!

Потом он стал кричать на маму:

– Это всё ты виновата! Ты из него девчонку сделала! Посмотри на него, из-за пустяка нюни распустил! Изнеженный маменькин сынок!

Я из-за таких слов разревелся ещё больше на весь вечер. Папа долго потом ещё кричал и, в конце концов, немного успокоившись, сказал маме:

– У нас на заводе секция каратэ работает, завтра же Вадьку запишу, и будешь его водить два раза в неделю. Там его сделают настоящим мужчиной.

И вот я здесь. Я хожу на каратэ уже год, но сильнее от этого не стал. Я всё так же боюсь Пашку, и другие мальчишки меня всё время дразнят девчонкой. Но теперь я не говорю об этом папе, а то он очень уж нервничает.

У меня есть мечта. Я хочу, когда вырасту, стать таким же ловким и сильным, как человек-паук. Вот тогда-то я покажу Пашке и всем остальным. Я им всё припомню. А они будут валяться у меня в ногах и реветь:

– Прости нас, пощади. Мы больше никогда не будем.

И, может, я их и прощу. Ведь я должен быть благодарным. А главное, никаких тебе каратэ, тренировок и зарядок. Паук укусил один раз, это-то потерпеть можно, и человек стал суперменом. Я вообще не боюсь ни пауков, ни ящериц, ни пчёл. И уж тем более не боюсь собак. Мне кажется, что злых собак вообще не бывает, а бывают собаки, обиженные на людей. Правда, обидели их одни люди, а они кидаются на других, но это из-за того, что мы им все одинаковые кажемся.

Я когда вырасту, заведу себе собаку или даже двух. И у меня будет два верных друга. Собака бы и сейчас не помешала, да мама говорит:

– У нас и так тесно. А с собакой – куча забот, выгуливать три раза в день надо. Нет уж, у меня и так забот по дому да с тобой хватает, а если ещё собака будет, то я вообще с ума сойду.

– Мамочка, так собаку я выгуливать буду!

– Это ты сейчас так говоришь, а сам, может, погуляешь месяц, а потом забросишь, и всё это на меня ляжет. Вот вырастешь, станешь самостоятельным и заводи себе хоть десять собак.

И я жду – не дождусь, когда вырасту. Хорошо быть взрослым. Забот никаких. Ни Пашек тебе, ни уроков. Гуляй – не хочу.

Я размышляю, а мне, между прочим, скоро уже экзамен сдавать. Это в моей жизни первый экзамен. Надо специальные упражнения правильно сделать («кихон» называются) и потом доску разбить. Кихон я сделаю, это ерунда, а вот доску... У меня сердце куда-то вниз уходит, когда я про неё думаю. Мне кажется, что я не только переломить, даже попасть в неё ногой не смогу. Она небольшая такая, квадратной формы и очень толстая. Если даже я в неё и попаду ногой, то наверняка не доску, а ногу сломаю. Говорят, что в том году какой-то мальчик вот так сломал себе руку. Может, врут, а может, правда. И буду я на всю жизнь потом инвалидом, ездить буду в специальном кресле. А мама пожалеет, что привела меня в это каратэ и заставила сдавать экзамен.

А вот братья Мартышкины пошли сдавать. Их тут все зовут мартышками, да они и похожи. У обоих уши торчком, челюсти выпирают. Оба хитрые и драчливые. При взрослых они самые примерные мальчики в мире, а вот без взрослых... Однажды мы с ними гуляли (живём рядом), они отработывали на мне приёмы каратэ, это их любимая игра, и вдруг увидели кота. Кот как кот, никому не мешал, просто шёл по дорожке. Тут старший говорит ни с того, ни с сего:

– У котов девять жизней.

– Врёшь! – отвечает младший.

– Ничего не вру, папа говорил.

– Что-то я не слышал!

– А тебя не было!

И они решили скинуть кота с крыши, чтобы проверить: разобьётся он или нет. Если и впрямь девять жизней, то даже если разобьётся, то потом восстановится.

Я сказал:

– Не смейте трогать бедное животное! Вас самих бы так!

Тогда они налетели на меня. Старший повис сзади, а младший начал пинать в живот. Потом мы упали на землю и дрались. «Дрались» – это громко сказано, они меня здорово отделали в тот раз. Но кота я спас. Пока мы дрались, он убежал.

А наш «сэнсей» их очень любит. Зовёт их то «ниндзями», то «чаповцами». Правда, у них всё здорово получается по каратэ. Младший разбил доску с первого раза. Сейчас очередь старшего.

Бац! Доска цела, а Мартышка-старший держится за ногу, видно, повредил. Но он не сдаётся. Становится в стойку и пытается ещё раз. Снова не получилось. На третий раз доска всё-таки сломалась, но не чисто, не до конца. Мартышка отходит, прихрамывая.

Вот и настала моя очередь. Я делаю кихон, а сам всё время поглядываю на маму. Она стоит радостная, время от времени вскидывает фотоаппарат и щёлкает им. Глупенькая, неужели она не понимает, что её сыну скоро будет очень больно. Если уж Мартышка разбил лишь с горем пополам, то я-то и вовсе...

Самое ужасное, что мне уже неделю снится один и тот же сон: я подхожу, чтобы разбить доску, а она растёт, растёт и становится размером с комнату. И начинает на меня падать. Я убегаю, но никак не могу убежать. Сейчас доска меня прихлопнет. В стороне стоит Пашка Бочкин и заливается смехом. Потом я просыпаюсь.

И сегодня перед экзаменом я снова видел этот кошмар. Ясно, что у меня ничего не выйдет. Я подхожу к доске. Её держат на вытянутых руках два здоровых парня. Это тоже каратисты, у них уже черные пояса. Один говорит мне:

– Ты бей в середину, иначе не разобьёшь.

Я киваю, хотя и так знаю, что не разобью. Сэнсей смотрит на меня, в его взгляде можно прочесть «ну, с этого толку не будет». Он считает меня бесперспективным учеником, да так оно и есть. Я не люблю все эти драки, я же говорил. Сэнсей командует:

– Пошёл!

Мама кричит:

– Давай, Вадик, давай!

Я отступаю на шаг, а потом бью, стараясь поставить ногу ребром, как учил сэнсей. И вдруг происходит чудо. Эта толстенная доска, этот мой ночной кошмар, легко, ровненько распадается на две абсолютно одинаковые половинки. Будто её кто-то распилил. Но в том-то и дело, что никто не пилил, это я сам, САМ разбил её! С первого раза!!!

Дальше всё происходит, как во сне. Я краем глаза вижу, как кивает сэнсей, какие удивлённые глаза у Мартышек, как улыбается мама. А в груди разливается какое-то хорошее чувство, которое я даже не могу описать. Да нет, могу! Я – сильный! Я – взрослый! Конечно, потом у меня будет ещё много экзаменов и испытаний, но я всё смогу. Теперь-то я знаю...

Юлия СЕРГЕЕВА

СЛОВО ПРО СЛОВА, ИЛИ ЖИЗНЬ ДЛИНОЮ В АЛФАВИТ

(В. Высоцкий, А. Башлачёв, Я. Дягилева)

Начнём с банальной истины: человек только тем и отличается от животных, что ему дан дар слова. Однако в России любая банальность обретает фатальные черты. Для русских слово – это не дар, это единственная форма существования. Само название «славяне» – это символ – «народ слова». Поэтому слова Иоанна для русских имеют значение судьбы: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог...». Русское слово вобрало в себя философию целых народов, поколений, судеб. Греческое понятие «логос» (единство содержания – мысли и формы – слова) – в русском слове. Истина, пророчество, мудрость – это наше слово. Восточная гармония, первородное равновесие хаоса и космоса – это предел и беспредельность русского слова. Поэтому слово для русских – больше, чем мир, его рождение, бытие и конец. Слово – это пространство, время (в его лучшей ипостаси – бесконечности) и человек.

Русским культурным архетипом всегда была дорога. Путь по белому свету в бесконечность. Смотрите, слово как всеохватное начало соединяет эти понятия. Белый свет у славян – первородный свет, в котором нет разделения дня и ночи, добра и зла. Слово – это тоже свет (во многих языках мира глаголы «говорить» и «светить» имеют один корень). О Слове – Боге – Свете говорит Иоанн: «В нём была жизнь, и жизнь была свет человеков...». Для русских слово – это бесконечная дорога, не определенная ни во времени, ни в добре и зле, ни в цели пути. Сам человек, путник – это словослагатель. Сравните: путь – петь – поэт. Слово на Руси фактически было единственным не искусством. Потому что не было искусственным, изобретённым на базе чего-то. Архитектура, живопись и даже музыка – всё это выросло из слова. Русская живопись изначально основывалась на словесных сюжетах. У глаголов «писать» и «рисовать» – близкие корни. «Царапать», «чертить», «резать», «выражать», «поражать», «рисовать» – это значит изображать буквы, творить слова, а уж потом –

заниматься живописью. Д.С.Лихачев утверждал, что слово являлось своеобразным «протографом», архетипом всех других искусств на Руси. Если у других народов слово возникло из рисунка, ритмичных музыкальных звуков и т.д., то на Руси из слова появилась музыка, живопись и т.д.

Так, музыка – «бесовское занятие» в сочетании со словом обрела огромную силу. Магия песни, именно песни, а не стихотворения, известна еще с древних времён. Песня – это прежде всего заклинание, пророчество, способ познать будущее. Музыкант на Руси – испытатель стихийной силы слова. Он рискует захлебнуться истиной, потому что имеет дело с живым бесом – словом. В том-то вся и штука, что слово – это сочетание Бога и его антипода. Нерасторжимое сочетание. Поэтому обращение к слову как высшему началу – это своеобразная молитва всех поющих и пишущих. Их покровителем был, есть и будет Велес – славянский бог поэтов и музыкантов, животных и природы. Кто он, этот бог? Он – создатель песни, и он же – слушатель. Не случайно в русской песенной традиции нет разделения на исполнителя и слушателя. Они – едины и открыты друг другу.

Слово – единство космоса и хаоса, первородное начало всего в мире. Это хорошо понимал и чувствовал Владимир Высоцкий:

Сначала было Слово печали и тоски,
Рождалась в муках творчества планета, –
Рвались от суши в никуда огромные куски
И островами становились где-то.

Рванные куски – острова – это ведь осколки первого главного слова, вмещающего в себя смысл всего мира, слова-повелителя. Это слово знает всё наперёд, и потому печаль и тоска – от предчувствия саморазрушения. Творчество – это ведь разрушение цельности в поисках ее же – изначальной. Высоцкий, в отчаянье, су-

дорожно пытается выкрикнуть, выпеть все осколки большого Слова, чтобы из этой мозаики создать первоначальное. Интересна сама манера исполнения Высоцкого. Иногда кажется, что он отсутствует в мире: руки перебирают струны, голос живой и рваный, а глаза – пустые. Он путешествует сейчас далеко внутри, в своём море:

Но если уж сначала было слово на Земле,
То это, безусловно, – слово «море»!

И вдруг, как обретение острова – осколка – вспыхивают глаза истиной, белым светом в маленьком стекле зрачка. И снова – погружение в стихию поиска. Чувство осколка первого слова – это чувство фразы, резкого обрыва мысли, недопонятости. Высоцкий просто вгрызается в слова, рычит их, терзаясь их обыденным смыслом и не находя истинного. Он чувствует близость слова, понимает, что прошёл в осознании мира дальше своих со-творителей (друзей, аудитории и т.д.):

Часы тихонько тикали
«Сю-аю, сю-аю».
Вы втихоря хихикали,
А я давно – вояю.
И свою жизнь он выражает в... системе алфавита:
Жизнь – алфавит: я где-то
Уже в «це-че-ше-ще», –
Уйду я в это лето
В малиновом плаще.
Но придержусь рукою я
В конце за букву «я» –
Еще побеспкою я!
Снимаю руку я.

Дело в том, что русский алфавит, восходящий к древнерусской кириллице, – это не просто азбука, а символ всего мира в его рождении, развитии и бес-смертии. Это микромир, воплощённый в обозначениях букв: кириллица начинается с АЗ (я) и заканчивается «я». Весь мир – это путь от себя (АЗ) к себе же (я). Слово живёт в алфавите, повторяясь несколько раз: БУКИ – буквы, ГЛАГОЛЬ – пророческое слово, С – СЛОВО, М – МЫСЛЕНИЕ: слово – мысль. «АЗ, БУКИ, ВЕДИ, ГЛАГОЛЬ, ДОБРО, ЕСТЬ...» Я ведаю азбуку-жизнь, и она же меня приведет к глаголу-слову, которое есть добро, и далее к моей душе – к «я». Высоцкий, конечно, мог и не знать о сакральном смысле алфавита, но он увидел формулу человеческой жизни в слове. Буквы «це-че-ше-ще» выбраны не случайно. Они соответствуют державинскому: «Я царь – я раб – я червь – я бог!» (И в кириллице – «червь»). Так человек

в слове и алфавите проходит свою жизнь – от «я» до «я»-нового. Кто это – новый «я»? Бог?

Если Высоцкий мыслил слово как разбитое на осколки (фразы, буквы, слова) единство, то другой поэт, ушагов всего на пару десятилетий дальше (по XX веку) уже видел иное слово.

Александр Башлачёв чувствует слово корнями, жилами, клетками. Слово для него не разбито, а забыто. Нужно только раскрыть свою душу, чтобы оно зазвело снова. Слово для Башлачёва – это религия истинная, первородная. Он называл эту религию Имя Имён. Изначально любое слово – это имя предмета, явления...

Дать имя – значит, дать жизнь.
Имя Имён – первое слово на земле:
Имя Имён в первом вопле признаешь ли ты, повитуха?
Имя Имён – сам Господь верит только в него...
Имя Имён, так чего ж мы, смешав языки,
мутим воду в речах?

Зачем строить глупую Вавилонскую башню – словозатворню, фразозаразу, толкотюрьму до Бога, ведь она плодит языки, но имя – истину – не находит:

Имя Имён прозвонит золотыми ключами.
Шобаш! Все-гурьбою на башню!
Пала роса. Пала роса.
Да сходил бы ты по воду, мил человек!

Слово Башлачёва – в ключах, в корнях, в земле. Надо быть проще и прощать – и тогда Имя Имён откроется. Сложность в построении жизни Башлачёв уподобляет грубым и неловким предложениям: «Я на уровне синтаксиса как-то уже перестал мыслить, я мыслю (если это можно так назвать) на уровне морфологии. <...> Это Имя Имён можно представить как некий корень, которым является буддизм, суффиксом у него является ислам, окончание – христианство, а приставками – идиш, ересь и современный модерн». Заметьте – христианство – окончание. Окончание служит для связи слов между собою. Христианство – это связь, общение. Так, русское слово несёт в себе, нет, не истину, но функцию сообщения, сотворчества со всем миром. Поэтому и герой русский – всегда странник, соединяющий весь мир грубой нитью своего пути. Для Башлачёва слово – это источник самодостаточно-го смысла. Иногда его песни просто разбиваются на отдельные отрезки-слова, которые уже не нуждаются в окружении: ПИТЕР – ПИИТЕР, РОССИЯ – РОСС и Я, СПАСИ – СКОСИ – СХОРОНИ, РУСЬ – РУСЛО – РЕКА и т.д.

Да и сам он – САШБАШ – выкрикнул. Все за короткие два года. И не искал больше контекста, позволив себе сказать всё сразу, от ключей, от Имени Имён. Его песни – это прозрения шамана. Он и пел их по-шамански – сбивал пальцы в кровь, раздевался догола и ползал на коленях у микрофона. Это уже было слово, проросшее корнями в душу человека, заставившее его не только говорить губами, но телом, жизнью:

...А корни могучие
Заплетутся грозными...

Сашбаш говорил о сотнях языков, на которых говорит с нами Имя Имён: женщина – язык, «Битлз» – язык, любовь – лучший из языков. Нужно только слышать слово.

Слово – всегда спасение и убежище. Но иногда и слово обманывает. Так было с Янкой Дягиловой. Её слово зияет, как дыра, в которую потихоньку утекает жизнь:

Крестам и нулём разрешились пустые места.
В безвременном доме за разумом грохнула дверь,
Рассыпалось слово на иглы и тонкую жёсть,
А злая метель обязала плясать на костре.

Иногда кажется, что Янка нагромождает сложные длинные строки, беспорядочные слова только для того, чтобы закрыть, забаррикадировать эту дыру – умершее слово. Партнерство, ауканье между Богом – словом и человеком нарушено, и вот из души Янки полетели «клапана и вкладыши» – бесконечные строки – к нему, к слову, а в ответ только ненасытное пылесосное сопение бездны.

Учи молчанием.
В слове соль и стекла осколками вливаются в живое.
У «говорить» есть – «воровать».

Лучше молчать. Тогда слово не сможет красть у тебя душу, ничего не давая взамен. Слово у Янки истаскалось, пришло в негодность и от этого тоскливо и страшно:

Плети, рука, веревочки из знаков,
Они не помнят, что они хотели,
Свиваясь в петельки, из нас изобразить.
И от каких недугов исцелить...
Терзать слова – шаг к шизофрении...
И ведь нет слов. Есть ниточка с Богом:
И я хожу по струнке вверх и вниз,
Помножив зов туда на зов оттуда.
Но это уже не тот Бог и не то слово:
...А кто-то растворился во Вселенной
И Богом стал, но кто же вам сказал,
Что всем туда же?

Новое слово должно родиться. Это таинство язычества, и оно рвётся. Режется по больной Янкиной душе. Ей – нерождённые, мёртвые дети – слова:

... После облома, после аборта
Прощаются руки со струнами...

Это ведь крик разбитой Землицы – Богородицы. Словородицы. Это потом, по кровавым Янкиным рубцам, первым чертам нового языка будут умные и удачливые составлять азбуку. А пока ей стеклом и жёстью ставить царапины на себе. Янка, кто пожалеет тебя, каждую ранку расцелует?

...А тут начинается твой алфавит...

ТАТЬЯНА КРАСНОВА

«НЕСКАЗАННОГО СВЕТА»

О Пушкине всегда хочется сказать слишком много, всегда наговоришь много лишнего и никогда не скажешь всего, что следует.

В.О.Ключевский

Вероятно, задумавшийся над пушкинской Вселенной читатель должен испытывать чувство, близкое к головокружению. Пушкин одарил нас не суммой идей, не одной радостью высказанного знания, но предчувствием совершенства еще несказанного слова. «Беззаконной кометой» его творчества движет космос ещё не явленных возможностей. Пушкин зовёт за собой, вовлекая в процесс бесконечного смыслонаполнения всего сущего. И вот привычные вещи раздвигают свои границы до «бездны пространства»...

Как мы стоим перед Вселенной Пушкина, так автор «Онегина» стоит перед Вселенной жизни. В «Онегине» ощутимо дыхание космического контекста живой реальности. Нет, Пушкин «не объял необъятное», он создал более ценное – образ самой необъятности. Всё, явленное в пушкинском слове, – фрагмент чего-то огромно непостижимого... «Покамест упивайтесь ею, Сей лёгкой жизнью, друзья» – самая жизнь – лишь фрагмент величайшей бытийной фрески. «Дар напрасный, дар случайный, Жизнь, зачем ты мне дана?» – вопрошает поэт мироздание. Мироздание молчит. За него отвечают бесконечными житейскими, художественными, философскими истолкованиями. Но мир остаётся молчащей тайной. Вот что прекрасно явлено в пушкинской поэзии – равновеликость этой тайны. Не эта ли таинственная безграничность мира проникает в строки Пушкина бесконечными перечислениями, которые у него повсеместны:

Прогулки, чтение, сон глубокий,
Лесная тень, журчанье струй...

Ни слетни света, ни бостон,
Ни милый взгляд, ни вздох нескромный...

«Пересказать мне недосуг...» «Всего...». Происходит погружение в безбрежное смысловое пространство, способ движения в котором – полёт. Полёт вслед за

летающей жизнью. Слово Пушкина стремительно несётся вслед за необъятным. И застигнутые необъятностью, стремглав, несутся его герои:

Несется вдоль Невы в санях.
На синих, иссечённых льдах
На улицах разрытый снег.
Куда по нём свой быстрый бег
Стремит Онегин? Вы заране
Уж угадали; точно так:
Примчался к ней, к своей Татьяне.

Татьяна прыг в другие сени,
С крыльца на двор, и прямо в сад,
Летит, летит; взглянуть назад
Не смеет; мигом обежала
Куртины, мостики, лужок,
Аллею к озеру, лесок,
Кусты, сирень переломала,
По цветникам летя к ручью
И задыхаясь, на скамью
Упала...

«Летающая» перечислительность пушкинской интонации переплетена с интонацией предположительной. Способ общения человека с мирозданием, предположенный Пушкиным, – гипотетический:

Я вас любил: любовь ещё, быть может...

Души неопытной волненья
Смирив со временем (как знать?)...

«Быть может», «как знать», «не потому ль», «не правда ли», «мог бы» – в законе пушкинского реализма, прозревшего сущность искусства как гениального предположения о жизни.

Не эта ли особенность породила бесконечную череду интерпретаций финальной сцены романа в стихах?

Количество предположений относительно отказа Татьяны Онегину трудно обозримо. «Пролетим» по некоторым из них... «Стремглав»...

«Татьяна отражает «нравственно-эмбриональное» состояние русской женщины, не способной к радикальному поступку». (В. Белинский).

«Ведь она же видит, кто он такой: вечный скиталец увидел вдруг женщину «...» в новой обстановке, — да ведь в этой обстановке-то, пожалуй, и вся суть дела». (Ф. Достоевский).

«Татьяна под конец обнаруживает еще и способность к сделкам со своей совестью... Она ещё любит тайне Онегина и находится замужем — вот что положительно плохо». (П. Анненков).

«Поступок Татьяны — пример верного выбора «между полнотой желания и исполнением желаний, между полнотой страдания и пустотой счастья». (М. Цветаева).

«Пушкинская героиня сравнима со сказочным существом, которому перебили ноги, но он отрастил крылья и поднялся над тем местом, где уготована ему смерть». (А. Платонов).

«Татьяна отказывает Онегину из патриархальных предрассудков». (В. Коровин).

«Отповедь Татьяны — точный, зеркально-симметричный слепок отповеди Онегина: «Учитесь властвовать собою», (равно) = «Как с вашим сердцем и умом быть чувства мелкого рабом». (Г. Макогоненко).

«Татьяна отвергла Онегина из любви к нему, не позволив высокому роману их отношений обернуться тривиальным и, увы, очередным для героя романчиком». (В. Непомнящий).

«В восьмой главе воспроизведена ситуация народной лирической песни: По горенке

Таня ходит,
Головушку чешет.
Досталась любезная
Иному, не мне,
Иному, немилому».

(Д. Медриш).

«Поскольку образ Татьяны выстраивается в традиции этического героя, решающее значение заключено в слезах матери, умоляющей дочь выйти замуж. Материнские слезы святы, материнское благословение име-

ет магическую власть над судьбой героя классического эпоса». (Г. Краснухин).

«Татьяна задаёт модель устранения русской Вселенной». (Г. Гачев).

«Пушкинской героине по плечу «холод жизни» как высшее проявление энергии нации. «Зимний» мотив непосредственно сближен с тем суровым и таинственным чувством меры, закона, судьбы, которое заставило Татьяну отвергнуть Онегина. «Позиция Татьяны — особый род «пробывания» в трагической ситуации, такое совпадение с ней, которое исключает мысль о том, что человек рождён для счастья, о том, что мир должен быть приспособлен к его потребностям». (В. Маркович).

«Условием этого возможного счастья было понимание Онегиным Татьяны тогда, в деревне. Но он не понял ни тогда, ни позже, что такие натуры, как Татьяна, любят один раз в жизни». (Н. Зуев).

«Отказ Татьяны объясняется русской литературной традицией, идущей от плача Ярославны, в которой любовь измеряется общественной ценностью любимого. Чистая любовная эмоция в пределах «линия Ярославны» самостоятельной культурной ценности не представляет, её как бы и нет, она пребывает в хаосе структурно неорганизованных элементов». (Е. Курганов).

«Татьяна остаётся верно своему пути, идя общей дорогой». (М. Карамзинская).

«Татьяна демонстрирует «принцип непоколебимой верности тому положению, в котором оказался человек». (И. Столярова).

«Столь различные интерпретации возможны потому, что восьмая глава «Онегина» не лишена некоторой нравственной двусмысленности; Онегин и Татьяна, оба живущие независимой жизнью и оба имеющие свое место в сердце автора, ведут себя так, как побуждают их к тому их натура, и судить их за то, что каждый ищет любви другого в неподходящий момент, такой же нелепый педантизм, как порицать героев Чехова за то, что они несчастливы. Возможность неоднозначного толкования, результат сочувствия автора всем сторонам, неизменно сопутствует тем произведениям, в которых Пушкин достигает вершин мастерства». (Пол Деб-рени).

Вокруг каждого из приведённых мнений возможна дискуссия, то есть дальнейшее продуцирование точек зрения. Огромный потенциал смыслопорождения заключён в одном лишь эпизоде пушкинского космоса.

Позволю себе ещё одну точку зрения, прекрасно понимая, что это ещё одно «быть может...»

Через несколько десятилетий после «Евгения Онегина» не состоится «возможное счастье» Наташи и князя Андрея. Что-то страшное и неестественное ощущают в возможности супружества Наташи и Андрея и сама Наташа, и её мать – старая графиня Ростова. Чего боятся они? Онегинского в Болконском... Того, что ощущает в себе Евгений. «Теперь мы в сад перелетим, / Где встретилась Татьяна с ним». «Блестя взорами, Евгений / Стоит, подобно грозной тени». «Тень», действительно, «грозная», и убийственен призрак предполагаемого супружества: «мужа», «бедная жена», «разлюблю тотчас», «не тронут сердца моего», «сердит и холодно ревнив». Вот кого в себе носит Онегин... и так прекрасно его в себе контролирует, не допуская до Татьяны: «К беде неопытность ведёт». Фигура «лишнего человека» восходит к архетипу «антижизни». И в этой ипостаси конфликт Татьяны и Онегина – столкновение жизни и смерти. В Онегине есть мертвящее начало. Своей отповедью он, в сущности, убил Татьяну, но она воскресает, как феникс из пепла, «над тем местом, где уготована ей смерть». Недором Онегин – убийца. И это ясно обнаруживает сон Татьяны, в котором грядущая дуэль обнажает свою суть узаконенного убийства. Дуэльная практика расцвела в эпоху, совпавшую с литературным романтизмом, в котором идея Духа превыше Жизни. В дуэли Идея человека превыше его самого. Кстати, одна Татьяна могла бы предотвратить дуэль: «Когда бы ведала Татьяна...». Но вот тут-то и начинается волшебство пушкинского реализма: романтически-демоническое, в конечном итоге, разрушительное начало в «лишнем человеке» Евгении Онегине – не его личное, а традиционно-«штампованное», Онегин «придумал себя», но себя не знает, как не может знать себя исчерпывающе любое живое существо. «Смертельное» в Онегине – не его качество, он убийца невольный, – невольник ложной мысли, аккумулированной, в частности, в «мнении света». И этот свет его рукой убьёт Ленского. Но чья бы ни была рука, как бы там ни было – факт смерти налицо. И возникает жуткая параллель: убил дружбу – убил любовь, убил Ленского – убил... Теперь понятно, чего избегает Татьяна своим отказом? Он был бы «невинным», страдающим убийцей типа Алексея Вронского. К своей «жертве» Онегин подбирается по светской программе. Во внутренние покои светской дамы крадёт Онегин, как самый тривиальный любовник галантно-эротического склада: «Нет ни одной души в прихожей. / Он в залу; дальше: никого». Так крался Германн... Как они чудовищно ординарны, все эти «лишние люди!» «К её ногам упал Евгений...», Онегин не сделал своей любовью первооткрывателя мира –

Татьяна на него «глядит без удивления, без гнева». Она уже пророк – «Ей внятно все», а он лишь в первом откровении пред собой. Он, крохотный традиционными эротическими тропинками, читающий всё те же книги мудрецов всё того же мира, оппозиционером которого он мнит себя, – чем одарит он Татьяну? Что нового он скажет? Ничего. Ни одного слова. Он – выходец с того света. «Идёт, на мертвеца похожий». Какую жизнь он может предложить своей княгине? Своим явлением он предлагает ей смерть. Так вот чего не дождалась героиня, Муза Пушкина, выйдя замуж! Вот почему со «слезами заклинаний молила мать» свою Таню вступить в закон общей жизни! Призрак смерти витает над образом Татьяны: «Погибнешь, милая», «А та, с которой образован/Татьяны милой идеал... /О много, много рок отъял!». Так вот чему отказала.

То, что Татьяна не дождалась своей смерти в лице Онегина, особенно ясно видится в скрытой композиционно-образной параллели: Ленский дождался...

Татьяна и Ленский. Их редко сопоставляют. А зря. На именинах у Татьяны образуются знаменательные пары:

Парис окружных городков,

Подходит к Ольге Петушков,

К Татьяне – Ленский...

А что? «Я выбрал бы другую, / Когда б я был как ты поэт». Да, между ними таинственное сопряжение, и оба влюблены в одно и то же время, и обоим по восемнадцать лет. Но представляют они собой альтернативные типы реакции на «холод жизни», идея которого, в значительной мере, несомна образом Онегина. Ленский умирает – Татьяна остаётся жить. Смерть Татьяны от несчастной любви была бы такой же романтической нелепостью, как гибель Ленского на дуэли. Не умереть Татьяне помогло чувство времени, могучего бытийного ритма.

Поразительно, как не боялся Пушкин быть обычным: «Покройника похоронили». Та же гениальность притяжения обычая – в Татьяне. От веры в преданья, от простого имени – до великолепия высшей неприязательности, – «Всё тихо, просто было в ней». Притязать на закон Природы бесполезно, с ним можно совпасть. В этом совпадении, как известно, феномен Татьяны Лариной. «Пора пришла» – вышла замуж, но не сама, а направляемая той силой родовой (народной) принадлежности, которая и питает, и регламентирует существование личности, тем самым обеспечивая его смысл.

Татьяна живёт вовремя. Онегин хронически опаздывает. В театр: «Театр уж полон <...> / Идёт меж кресел по ногам»; на бал: «Вошёл. Полна народу зала; / Музыка уж греметь устала»; к умирающему дяде: «Но, прилетев в деревню дяди, / Его нашёл уж на столе, /

Как дань, готовую земле»; с ответом на письмо Татьяны: «Но день протёк и нет ответа. / Другой настал, все нет как нет. / Бледна, как тень, с утра одета. / Татьяна ждёт: когда ж ответ?»; на именины к Лариным: «Уста жуют.<...> «Ах, творец!» / Кричит хозяйка: «Наконец!»; с предотвращением дуэли: «Он мог бы чувство обнаружить, / А не щетиниться, как зверь, <...> «Но теперь / Уж поздно; время улетело...»; наконец, Онегин опоздал уйти из будуара княгини: «Но шпор внезапный звон раздался, / И муж Татьяны показался».

Он опоздал... Заранее у него одно – «заранее звал». Ленский «и жить, и чувствовать спешит». Спешит влюбиться: «Чуть отрок, Ольгою плененный», спешит с ревнивым выводом: «Зачем вчера так рано скрылись?», спешит на дуэль: «Опершись на плотину, Ленский / Давно нетерпеливо ждал», в результате чего досрочно умер: «Увял на утренней заре».

Из несовпадения ритма Онегина и Ленского рождается дистанция между ними как естественное продолжение их взаимоисключающей сущности («лёд и пламень»). Эта дистанция могла бы быть спасительной для Ленского. Но он покрывает её ожиданием. Ожидание Ленского имеет роковое значение. В опоздании Онегина на дуэль – спасение поэта: 15-минутная задержка одного из дуэлянтов отменяла дуэль-смерть. Но Ленский дожидается. И значит, он – самоубийца (вспомним, что его могила одинока, вне церковной стены – так хоронили самоубийц). Но ждёт-то он, инициатор дуэльного поединка, жертва ложной идеи, как убийца, желая убить Онегина.

Так что «Как в страшном, непонятном сне (сне Татьяны – Т.К.), / Они друг другу в тишине / Готовят гибель хладнокровно...». На этой дуэли оба пали жертвами предубеждения. Потому что любое предубеждение – враг жизни.

Сожетная линия Татьяны и Онегина представляет собой замедленную дуэльную параллель к поединку Онегина и Ленского. «Сегодня очередь моя» – в этом что-то от выстрела Сильвио (по внешней видимости, конечно). В отличие от Ленского, Татьяна не дождалась Онегина. И слова Богу... «Когда бы ведала Татьяна...» Теперь «ей внятно всё», и смерть отступает не только от героини, идущей по самому краю пропасти, но и от души героя, который, «как дитя, влюблен». Приученные к ассоциации «счастливый финал – свадьба», мы не замечаем огромного счастья, заключённого в финале «Онегина». В кой-то веки явилось светлое чудо взаимной любви: «Вас люблю (к чему лукавить?) – «Внимать вам долго, понимать / Душой всё ваше совершенство». Какая редкостная, обоюдная гармония чувств! «Чего же боле?» Верно, верно, что любовь – состояние ду-

ши, плохо переводимое в образ жизни. И вот в этом смысле никакого пресловутого Татьяниного отказа не существовало в природе. То, как Татьяна «ушла», сказала и ушла, – бедствие, равное уходу золотой рыбки в глубокое море, оставляющей человечество на произвол его собственных безумных желаний. Но и спасение в той же мере, избавляющее это человечество от последствий безумных желаний.

Уход Татьяны, конечно, – возмездие, сопровождающееся тяжкой поступью «Командора» («шпор внезапный звон раздался»), но Татьянин «отказ» – и высшее духовное одарение: «В какую бурю ощущений / Теперь он сердцем погружён!», тот, в ком «рано чувства остыли!». На дуэли Онегина с Татьяной был убит «лишний человек». Вот и Онегин оказался не лишним на «празднике жизни», хотя и запоздал порядком по своему обыкновению...

Манящая «даль свободного романа» влечёт говорить и говорить и о нем, и о проекциях пушкинских прозрений в «дали» нашей литературы. Пушкинский роман всё время вспоминается... Вспоминается пушкинское «Проснулся утра шум приятный...», когда читаем толстовское: «Пройдёт старушка в церковь, где уж отражаясь на золотых окладах, красно и редко горят несимметрично расставленные восковые свечи. Рабочий народ уж поднимается после долгой зимней ночи и идёт на работы». Вспоминается утро Онегина, когда читаем про утренний туалет Нехлюдова из «Воскресения», вспоминается «Кто ей внушал и эту нежность, / И слов любезную небрежность», когда удивляемся вместе с автором «Войны и мира»: «Где, как, когда всосала в себя из того русского воздуха, которым она дышала, – эта графинечка, воспитанная эмигранткой-французенкой, этот дух, откуда взяла она эти приёмы <...>?».

Вспоминаются «наливок длинный строй, кувшины с яблочной водой и календарь восьмого года», когда погружаемся в идиллию гоголевских старосветских помещиков, вспоминается и самый отказ Татьяны, когда слышим вампиловскую Валентину: «Уходите оба... Вспоминается, вспоминается...»

Но всё это, «читатель, мы теперь оставим... Оставим тебе для продолжения летучей эстафеты душевного общения с Пушкиным. И ты скажешь свое «быть может», влекомый беспокойным предчувствием совершенства ещё не сказанного слова:

Всё сказано на свете –
Несказанного нет,
Но вечно людям светит
Несказанного свет.

(Н.Матвеева)

ПЕРВОЦВЕТ
№ 3 (10)' 2001

Альманах зарегистрирован в Восточно-Сибирском региональном управлении
регистрации и контроля за соблюдением законодательства о средствах массовой
информации и печати, регистрационный номер И-0391 от 28 июля 1998 г.

Выпуск альманаха осуществляется
благодаря финансовой поддержке
Комитета по культуре администрации Иркутской области.

Областная юношеская библиотека им. И. П. Уткина и редакционная коллегия альманаха
«Первоцвет» благодарят оперативную мини-типографию «На Чехова» за помощь в
издании альманаха.

Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Бумага Гознак. Печать Ризо
Заказ № 3. Тираж 500 экз.

Отпечатано с готового оригинал-макета
в оперативной типографии «На Чехова»
г.Иркутск, ул.Чехова, 10, тел.: (3952) 27-33-56
ПЛД №40-37

Цена договорная
E-mail: chehova@irk.ru
www.na-chehova.irk.ru